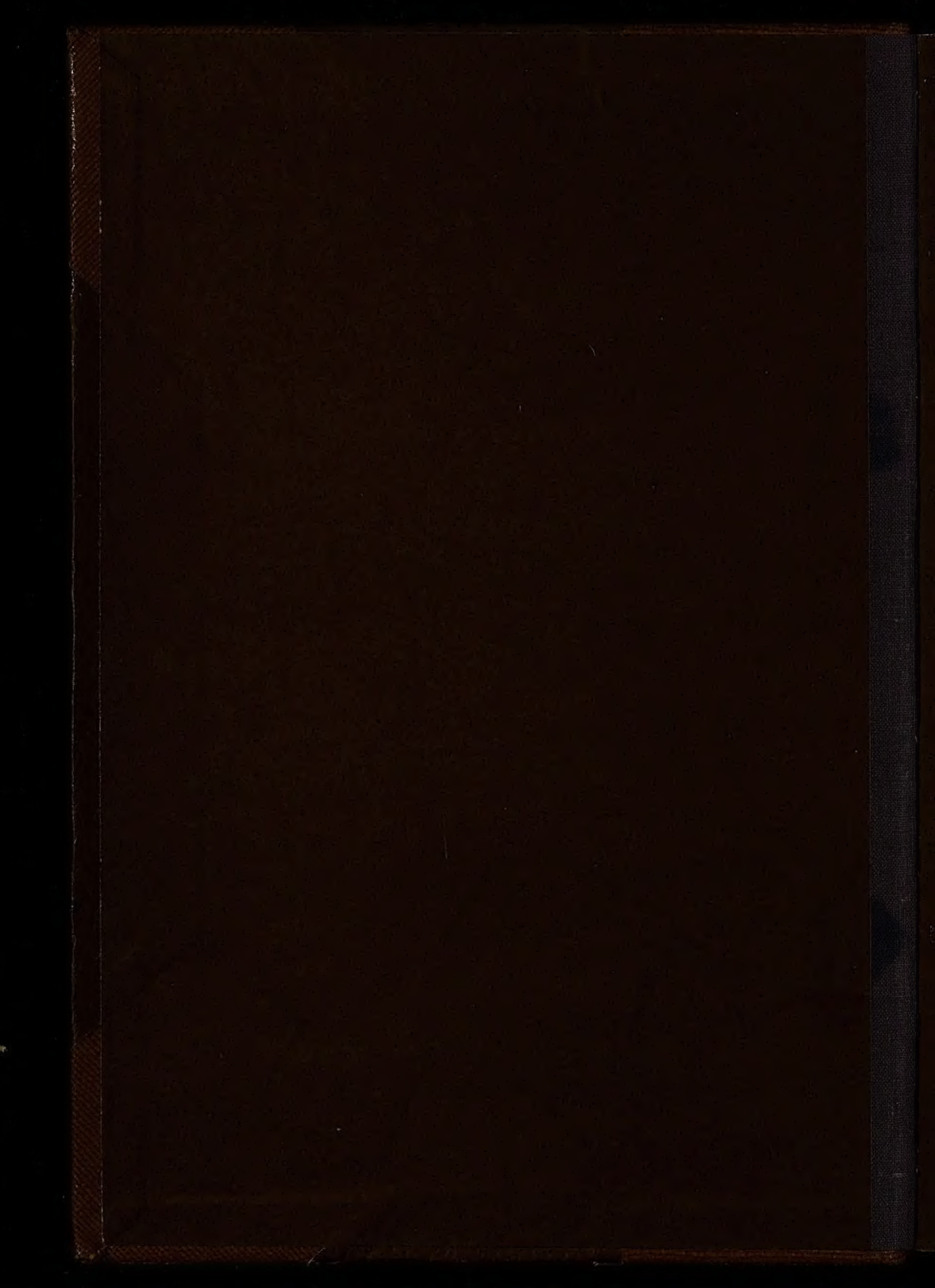
Троцкій

Годы великаго перелома







Россійская Коммунистическая партія (большевиковъ).

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

Л. Д. Троцкій.

ГОДЫ
ВЕЛИКАГО ПЕРЕЛОМА.

(БЕЛЬГІЯ и СЕРБІЯ ВЪ ВОЙНѢ.)

Цѣна 6 руб.

Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ".

МОСКВА:
Срѣтенка (уг. Рыбникова пер.), д. 8.

ПЕТРОГРАДЪ
Поварской пер., д. № 2, кв. 9 и 10.
Тел. 2-27-42.

МОСКВА.—1919.

Другія работы Л. Д. Троцкаго.

Рабочіе движеніе въ Николаевѣ. Брошюра. Женева. 1900.

Докладъ сибирской делегаціи. Брошюра. Женева. 1903.

Наши политическія задачи. Брошюра. Женева. 1904.

До 9-го января. Брошюра. Женева. 1905.

Парижская коммуна. Предисловіе къ руск. изд. „Гражданская война". К. Маркса. Петербургъ. 1906.

Господинъ Петръ Струве въ политикѣ. Памфлетъ. Петербургъ. 1906.

Интеллигенція и революція. Памфлетъ. Петербургъ. 1906.

Наша революція. Книга. Петербургъ. 1906.

Исторія Петерб. Сов. Раб. Депутатовъ 1905 г. (Двѣ статьи въ сборникѣ) Петербургъ. 1906.

Въ защиту партіи. Брошюра. Петербургъ. 1907.

Туда и обратно. (Ссылка и побѣгъ). Петербугъ. 1907.

Russland in der Revolution (Нѣмецкая книга о русск. революціи). Дрезденъ. 1909.

Книга эта цѣликомъ или частями вышла на чешскомъ, болгарскомъ, голландскомъ и др. языкахъ.

Самодержавнѣшій и православнѣйшій. Памфлетъ посвященный Николаю II. Вѣна. 1913.

Der Krieg und die Internationale. (Брошюра, посвященная кризису II-го Интернаціонала на нѣмецк. языкѣ). Цюрихъ. 1914.

The Bolsheviki and World paece. (Та же брошюра на англ. языкѣ). Нью-Іоркъ. 1917.

Въ плѣну у англичанъ. Брошюра. Петроградъ. 1917.

Программа міра. Брошюра. Петроградъ. 1917.

Та же брошюра была издана на нѣмецкомъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ.

Что же дальше? Брошюра посвященная режиму Керенскаго. Петербургъ. 1917.

Трудъ, порядокъ, дисциплина. Докладъ. Москва. 1918.

Слово русскимъ рабочимъ и крестьянамъ. Москва. 1918.

На борьбу съ голодомъ. Рѣчь. Москва. 1918.

Статьи въ газетахъ и журналахъ, русскихъ и иностранныхъ: „Восточное Обозрѣніе" (Иркутскъ 1901—1902). „Искра" (Лондонъ—Женева, 1902—1915), „Начало" (Петербургъ 1905), „Die Nene Zeit" (Берлинъ 1907—1914), „Vorwärts" (Берлинѣ 1907—1914), „Ardeiter Zeitung" (Вѣна, 1909—1910), „Der Kampf" Вѣна, 1910—1914, „Кіевская Мысль" (Кіевъ, 1907—1916). „Правда" (Вѣна, 1908—1912), „Борьба" (Петерб. 1913), „Голосъ", „Наше Слово", „Начало", (Парижъ, 1914—1916), „Новый Міръ" (Нью-Іоркъ, 1916—1917) и др.

Россійская Коммунистическая партія (большевиковъ).

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь.

Л. Д. Троцкій.

ГОДЫ ВЕЛИКАГО ПЕРЕЛОМА.

(БЕЛЬГІЯ и СЕРБІЯ ВЪ ВОЙНѢ.)

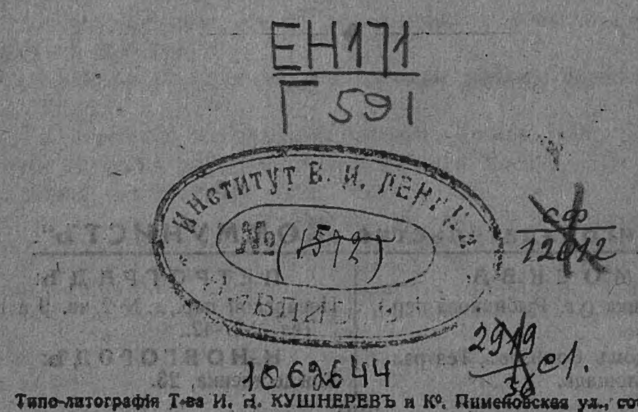
Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

МОСКВА:
1) Срѣтенка (уг. Рыбникова пер.), д. 8.
2) 2-ой домъ Совѣтовъ, Театральная площадь.

ПЕТРОГРАДЪ:
Поварской пер., д. № 2, кв. 9 и 10
Тел. 2-27-42.

Н.-НОВГОРОДЪ:
Рождественка, 23.

1919.



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб.
Москва — 1919.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Это не исторія и не политика, а отдѣльныя замѣтки на поляхъ той большой книги, которую народы пишутъ нынѣ своей кровью.

Настоящій выпускъ посвященъ Бельгіи и Сербіи— двумъ маленькимъ странамъ, которыя играли такую большую роль въ первую эпоху войны. Барышники англо-французскаго имперіализма усердно спекулировали тогда на чувствѣ состраданія къ двумъ маленькимъ народамъ, раздавленнымъ австро-германской солдатчиной. Теперь надъ Европой господствуетъ солдатчина „западныхъ демократій". Но нашимъ друзьямъ, бельгійцу Кинифу и сербу Тодоровичу, англо-французское господство не несетъ никакого облегченія. Сербія и Бельгія сейчасъ—только жалкія колоніи своихъ могущественныхъ союзниковъ.

Настоящіе очерки, какъ мы надѣемся, покажутъ между прочимъ и то, что съ самыхъ первыхъ дней войны мы, которыхъ прохвосты англофильской оріентаціи называли германофилами, не имѣли нужды учиться у прихвостней Ллойдъ-Джорджа симпатіи къ народамъ, раздавленнымъ колесницей Гогенцоллерна.

Эта симпатія была и остается оборотной стороной нашей ненависти къ правящимъ классамъ обоихъ лаге-

рей. И такъ какъ австро-германскіе имперіалисты повергнуты во-прахъ, то наша ненависть, къ счастью не безоружная, направляется теперь прежде всего противъ правящихъ классовъ Согласія. Поистинѣ утѣшительно сознавать, что за время этой войны милліоны Кинифовъ и Тодоровичей научились ненавидѣть вмѣстѣ съ нами то, что достойно ненависти.

Кремль,
4 декабря 1918 г.

Л. Троцкій.

Мальчики, которые „вызвали" войну.

Рядомъ со мной въ углу café à la Rotonde, въ клубахъ табачнаго дыма, равнаго которому нигдѣ не найти, сидитъ молодой сербъ. Несмотря на крайне пестрый составъ публики, вы невольно остановите на немъ глаза. Это одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя какъ бы созданы для того, чтобы возбуждать безпокойство въ людяхъ порядка. Высокій, худой, но крѣпкій, смуглый, съ выраженіемъ тревоги и энергіи въ глазахъ и чертахъ лица, онъ остро присматривается ко всѣмъ и ко всему, жадный до впечатлѣній чужой жизни, но способный не растворяться въ ней. У этого молодого человѣка, почти юноши, — ему теперь врядъ ли 23 года, — есть своя цѣль. Это боснякъ, ближайшій другъ Принципа и Илича.

Вокругъ насъ остатки всѣхъ иностранныхъ колоній Парижа. Маленькій, пока еще мало популярный русскій скульпторъ съ большой очень популярной въ Латинскомъ кварталѣ собакой; бритый испанецъ, никогда не снимающій плаща на зеленой и красной подкладкѣ; неизвѣстной національности старикъ, habitué de la maison, который собираетъ на вѣнокъ умершей вчера хозяйкѣ café; сѣдой итальянецъ съ баками, въ бархатной курткѣ, покровительствуемый, разумѣется, всѣми моделями, посѣщающими café; два молодыхъ румына или грека въ лаки-

рованныхъ ботинкахъ, съ брилліантами на мизинцахъ и съ манерами тренированныхъ шулеровъ; дѣвицы квартала, les cigales, напѣвающія вполголоса пѣсню любви, на которую сейчасъ нѣтъ спроса—въ этой обстановкѣ мой собесѣдникъ разсказываетъ мнѣ о юго-славянской молодежи, ея надеждахъ и борьбѣ, даетъ бѣглыя характеристики лицъ, имена которыхъ мы всѣ впервые узнали въ концѣ іюня изъ газетъ. — Знаете что, говорю я ему, набросайте ваши воспоминанія письменно, разскажите хотя бы то, что можно разсказать публично уже сейчасъ. Я думаю, что это будетъ небезынтересно для русскихъ читателей.—Черезъ два дня мой молодой другъ принесъ мнѣ свою рукопись. Она отражаетъ своего автора вмѣстѣ съ тѣми его взглядами и оцѣнками, за которые я не могу брать на себя отвѣтственность. Но это человѣческій документъ, и было бы неумѣстно вносить въ него поправки или примѣчанія. Я просто даю его здѣсь въ переводѣ.

* * *

Вы, русскіе, о насъ знаете мало. Гораздо меньше, чѣмъ мы о васъ. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Ваша страна велика, у васъ большія задачи, и вы во многомъ ушли далеко впередъ. Мы отстали отъ васъ въ смыслѣ общественнаго развитія на нѣсколько десятилѣтій. И если бы вы заглянули на страницы движенія нашей сербо-кроатской, вообще юго-славянской интеллигенціи, то нашли бы тамъ многія черты вашего собственнаго движенія, какимъ оно было въ 60-хъ и 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія. А мы знаемъ вашу идейную исторію и любимъ ее, мы во многомъ воспроизводимъ ее на себѣ. Чернышевскаго, Герцена, Лаврова и Бакунина мы считаемъ въ числѣ нашихъ ближайшихъ учи-

телей. Мы, если хотите,—ваша идейная колонія. А колонія всегда отстаетъ отъ метрополіи.

Сербскія провинціи Австро-Венгріи переживаютъ эпоху серьезнаго соціальнаго броженія, которая имѣетъ много общаго съ эпохой вашей борьбы противъ крѣпостничества. Возстаніе противъ старыхъ политическихъ и экономическихъ формъ нашло своего выразителя въ молодомъ поколѣніи интеллигенціи, которое развивалось въ школахъ и университетахъ Сараева, Аграма, Вѣны, Праги, Граца, отчасти Бѣлграда и проводило долгія ночи за чтеніемъ соціальной и политической литературы. Духовное пробужденіе подготовилось глубокими соціальными измѣненіями. Наше крѣпостничество, основанное на экономическомъ и политическомъ владычествѣ сербо-мусульманской аристократіи, „спаги", давно уже стало трещать по всѣмъ швамъ, порождая трещины въ патріархальномъ народномъ сознаніи. Большая семья—кооперація, „задруга", разбивалась на маленькія семьи, придавленныя къ землѣ тяжестью государственныхъ налоговъ. Прежняя солидарность и взаимопомощь въ работѣ, хозяйственные и военные союзы большихъ семей для охраненія жизни и независимости,—все это отошло въ прошлое, замѣнившись индивидуальной обособленностью. Общество наше начало становиться сложнѣе, возникли новыя потребности и новыя идеи. Налоги заставляютъ часть населенія искать заработка за предѣлами родины. Тысячи и тысячи уходятъ за границу: въ Америку, Румынію, Германію, и тамъ, въ суровой школѣ наемнаго труда, вынуждены приспособляться къ новымъ соціальнымъ условіямъ. Иная боснійская деревня посылаетъ половину своей молодежи за границу, другая часть служитъ въ арміи. Опустошенными стоятъ многія села, хозяйство запущено и много есть печальныхъ деревень, гдѣ даже еще на

моей памяти, лѣтъ 12 тому назадъ, старая жизнь била ключомъ. Изъ чужихъ краевъ наши крестьяне возвращаются другими: болѣе критическими, менѣе покорными, и создаютъ, такимъ образомъ, основу для демократическаго движенія. Это новое поколѣніе является интеллигенціей сербо-кроатской деревни, и подъ руководствомъ учащейся молодежи оно организуетъ большія крестьянскія общества: кооперативныя, анти-алкогольныя, гимнастическія. Во всѣ эти организаціи интеллигенціей вносится по возможности широкая національная и соціальная идея. Въ нашемъ темномъ и суевѣрномъ крестьянствѣ пробудилась острая жажда знанія, старый міръ раскрывается передъ нимъ съ новыхъ сторонъ. Учащаяся молодежь, въ большинствѣ своемъ деревенская по происхожденію, спѣшитъ передать крестьянству свои познанія, открываетъ курсы, основываетъ читальни и популярные журналы. Въ каникулярное время университетская и гимназическая молодежь организуетъ учебно-пропагандистскія экскурсіи. Въ деревняхъ и городкахъ Босніи, Герцеговины, Далмаціи, Кроаціи и Славоніи устраиваются лекціи по медицинѣ, географіи, политической экономіи. Существуютъ спеціальныя группы, которыя подготовляютъ эти лекціи въ теченіе всего года. Ихъ публикуютъ затѣмъ въ журналахъ и брошюрахъ и распространяютъ въ широкихъ кругахъ населенія. Тутъ, если не ошибаюсь, много общаго съ вашей эпохой комитетовъ грамотности и хожденія въ народъ, съ той только разницей, что мы пользовались въ нашей дѣятельности несравненно болѣе широкой свободой. Каждая южно-славянская провинція имѣла свои періодическія изданія, посвященныя народу, его нуждамъ и запросамъ и группировавшія вокругъ себя интеллигенцію подъ знаменемъ уплаты долга народу. Старшее поколѣніе русской интеллиген-

ціи пойметъ меня безъ дальнѣйшихъ поясненій, руководствуясь памятью о своемъ собственномъ прошломъ. Наши изданія были естественно направлены противъ австрійской политики, но это былъ только голосъ пробудившейся любви къ народу, а не сознательной политической мысли. По мѣрѣ роста движенія пробуждалась, однако, и политическая мысль.

Наиболѣе крупнымъ нашимъ изданіемъ была „Зора", выходившая съ 1909—14 гг. и издававшаяся послѣдовательно въ Аграмѣ, Карловцахъ, Вѣнѣ и Прагѣ. „Зора" редактировалась выходцами изъ всѣхъ нашихъ провинцій и была какъ бы официальнымъ органомъ новаго національно-соціальнаго сознанія, объединяя всю юго-славянскую молодежь въ университетахъ и школахъ, на родинѣ и за границей. Въ какой мѣрѣ все дѣло лежало на плечахъ студенчества, видно хотя бы изъ того, что на время каникулъ журналъ переставалъ выходить. Въ „Зорѣ" появляются впервые на сербскомъ языкѣ выдержки изъ записокъ Петра Кропоткина о нигилизмѣ и о кружкѣ чайковцевъ. Рядомъ съ соціальной идеей, постепенно оттѣсняя ее, выдвигается національная. „Зора" удѣляетъ особенное вниманіе личности и дѣятельности Мадзини, особенно въ послѣдній періодъ своего существованія. Карбонаризму посвящается рядъ электризующихъ статей, а въ одной изъ книжекъ публикуется клятва мадзинистской организаціи „Молодая Италія". Для насъ это былъ не историческій документъ, а призывный набатъ. Редакція поддерживала дѣятельное сношеніе съ болгарской молодежью и стремилась къ основанію большой національно-соціальной партіи на землѣ южныхъ славянъ.

Все это движеніе, разбросанное, со множествомъ оттѣнковъ и организаціонныхъ отвѣтвленій, имѣло свои очаги также и въ столицѣ Сербіи, Бѣлградѣ. Оттуда

часто исходили нетерпѣливые толчки, побуждавшіе къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Одной изъ центральныхъ фигуръ въ Бѣлградѣ мнѣ представляется Любомиръ Іовановичъ, главный редакторъ журнала „Пьемонтъ“ Это названіе говоритъ само за себя. Іовановичъ былъ Мадзини молодой Сербіи. Очень высокій, изможденный, съ большимъ лбомъ, неутомимый работникъ и послѣдовательный аскетъ, фанатикъ-агитаторъ молодой Сербіи, Іовановичъ путешествовалъ по всѣмъ сербскимъ провинціямъ, часто пѣшкомъ, сближаясь со страной и людьми, знакомясь съ выдвигающимися политическими дѣятелями, завязывая связи, направляя и толкая впередъ. Онъ прекрасно зналъ болгарскую общественную жизнь и имѣлъ личныхъ друзей среди македонскихъ дѣятелей. Еще студентомъ въ Брюсселѣ, работая по 14 часовъ въ сутки въ королевской библіотекѣ, онъ урѣзывалъ себя во всемъ, сберегая гроши для будущей газеты, въ которой велъ свою пропаганду съ рвеніемъ апостола. Всѣ руководящіе элементы юго-славянской молодежи проходили черезъ скромную редакцію „Пьемонта“, чтобы видѣть и слушать Любомира. Тамъ можно было встрѣтить конспираторовъ изо всѣхъ провинцій Австро-Венгріи и Македоніи. Іовановичъ былъ какъ бы молчаливо признаннымъ центральнымъ комитетомъ движенія, которое обѣщало освободить и объединить нашу расу. Все юго-славянское юношество знало его по имени, легенды о немъ ходили въ нашихъ кружкахъ. Въ мартѣ 1903 года, наканунѣ кроваваго переворота въ Бѣлградѣ, Любо Іовановичъ былъ вмѣстѣ съ молодымъ тогда Туцовичемъ, организаторомъ бурныхъ демонстрацій противъ короля Александра. Въ слѣдующемъ году онъ основываетъ журналъ „Словенскій Югъ“. Программа изданія — національное и соціальное освобожденіе отъ Австріи юго-славянскихъ про-

винцій. Онъ вліялъ, можетъ быть, больше, чѣмъ кто-либо другой, въ эту эпоху на всю нашу жизнь. Іовановичъ былъ убитъ во время сербо-болгарской войны подъ Криволакомъ, сражаясь въ рядахъ сербской арміи въ чинѣ сержанта. Я былъ у него въ редакціи „Пьемонта" въ сентябрѣ 1911 года. Онъ сидѣлъ одинъ, низко согнувшись надъ столомъ, и писалъ статью для слѣдующаго номера газеты. „Вотъ какъ? Вы — бакунистъ... Наши мысли близки другъ къ другу. Но посмотрите на дѣйствительность, и вы согласитесь со мной: нужно сильнѣе скрѣпить движеніе національной идеей, иначе оно грозитъ упасть. Нужно звонить тревогу, переработать нашу душу, закалить себя". Я часто видалъ его около семи часовъ вечера, когда онъ выходилъ изъ редакціи, молчаливый, погруженный въ свои мечты, какъ загадочная тѣнь. Когда я думаю о Сербіи, я всегда вижу его апостольскую фигуру надъ сербскимъ горизонтомъ.

Кроатская молодежь сплотилась вокругъ журнала „Вихорь", выходившаго въ Аграмѣ въ 1912 году. Это изданіе выражало антиклерикальный оттѣнокъ, вызванный преобладающимъ вліяніемъ клерикализма въ католической Кроаціи. Наиболѣе выдающимся идеологомъ группы былъ свободомыслящій литературный критикъ Митриновичъ, истолкователь нашего геніальнаго скульптора Местровича. Одинъ изъ лучшихъ ораторовъ нашей страны, Митриновичъ объѣхалъ всѣ сербскія земли съ рефератами о моральной солидарности юго-славянъ, о ихъ литературѣ, поэзіи, живописи, скульптурѣ. Въ той же группѣ Владиміръ Черина представлялъ мадзинистское направленіе, которое онъ проводилъ въ своей провинціальной библіотекѣ „За націю". Послѣ покушенія Юкича на бана Кроаціи Цувая легальныя организаціи были повсюду закрыты. Вѣнскія газеты,

каждая на свой ладъ, сожалѣли о новыхъ тенденціяхъ кроатской интеллигенціи; нѣкоторыя требовали въ то же время возстановленія мѣстной автономіи и политической свободы Кроаціи. Таково было поведеніе „Arbeiter Zeitung“ и отчасти „Zeit“.

Въ *Славоніи* (Горица и область Тріеста) молодежь группировалась вокругъ журнала „Препоредъ“ (Возрожденіе), который выходилъ въ 1912 году подъ градомъ цензурныхъ преслѣдованій. Группа „Препореда“ была несомнѣнно самой активной и методической въ работѣ. Вождями движенія явились здѣсь воспитанники нѣмецкихъ университетовъ, такъ какъ съ преподаваніемъ на словенскомъ языкѣ существуютъ только низшія школы. Часть словенской интеллигенціи находилась подъ вліяніемъ вѣнскихъ клерикаловъ. Духъ политическихъ кликъ и карьеризма господствовалъ въ ея средѣ. Противъ этого сервильно-корыстнаго направленія поднялъ знамя возмущенія „Препоредъ“. „Мы вѣримъ въ жизненныя силы нашей расы,—писалъ онъ въ первой своей статьѣ,—и вѣримъ въ будущее. Кузнецы, выковывайте стойкіе характеры и несокрушимыя воли!“ Сторонники „Препореда“ нерѣдко такъ и называли себя въ бесѣдахъ—кузнецами. Журналъ публикуетъ біографію Петра Кропоткина и письма Александра Герцена о польскомъ возстаніи 1863 года. Это былъ послѣдній номеръ „Препореда“,—его закрыли.

Въ первый разъ я встрѣтился со словенской молодежью въ Вѣнѣ въ 1911 году. Мои собесѣдники, которые впослѣдствіи образовали редакцію „Препореда“, вышли изъ распадавшейся старо-радикальной организаціи словенскаго юношества. Здѣсь стремились къ болѣе активной борьбѣ и искали связей съ сербской и кроатской молодежью. Послѣ двухъ-трехъ бесѣдъ въ кофейнѣ Iosephinum, въ Вѣнѣ, мы нашли благо-

пріятную почву для совмѣстныхъ дѣйствій. „Не правда ли, Слободанъ, что честные люди всегда находятъ общій путь?“ — сказалъ мнѣ послѣ одной изъ встрѣчъ старшій изъ моихъ новыхъ друзей. Это было дѣйствительно началомъ сербо-словенскаго освободительнаго союза. Въ теченіе ближайшаго года мы въ частныхъ собраніяхъ вырабатывали основы программы и тактики. Изъ этой идеологической лабораторіи вышелъ „Препоредъ“, какъ и „Зора“. Словены — великолѣпные организаторы; долгія страданія и борьба ихъ несчастной расы закалили ихъ характеръ. Со своимъ практически трезвымъ направленіемъ они были незамѣнимыми сотрудниками для насъ, идеалистовъ-мечтателей...

Въ Сараевѣ движеніе группировалось вокругъ журнала „Омладина“, который переводами изъ Герцена и другихъ русскихъ писателей воспиталъ цѣлое поколѣніе. Я принадлежалъ къ тому маленькому кружку, въ который входили Принципъ и его друзья, руководившіе „Омладиной“. Нами была переведена брошюра Бакунина о „Коммунѣ“. Она въ числѣ другихъ изданныхъ нами брошюръ была распространена организаторами по всей странѣ. Мы часто спорили о томъ же, о чемъ въ свое время такъ много спорили и вы: о соціализмѣ, о судьбахъ народа, о методахъ борьбы. Въ нашихъ рядахъ не было серьезныхъ разногласій, какъ и въ нашихъ идеяхъ не было большой опредѣленности; но мы всѣ были убѣждены, что только страшной борьбой можно будетъ освободить народъ и спасти сербство. Съ восторженной любовью мы читали романъ Чернышевскаго „Что дѣлать“, останавливаясь въ благоговѣніи предъ сильной фигурой аскета Рахметова. За одного Рахметова мы пламенно любили молодую Россію. Мы не могли и не хотѣли вѣрить, что современная намъ русская интеллигенція измѣнила Рахметову для Са-

нина. Мы подражали герою Чернышевскаго, какъ могли. Въ статуты нашего кружка входило обязательное воздержаніе отъ любви и вина. Вы мнѣ повѣрите, если я скажу, что мы всѣ оставались вѣрны этимъ статутамъ. Каждый вечеръ мы собирались въ восточной части Сараева, въ убогой комнатѣ одного изъ нашихъ друзей. По очереди читали по-сербски и на иностранныхъ языкахъ новыя статьи, выдержки изъ книгъ, рукописи для „Омладины". Распредѣляя между собою работу, мы учились, чтобы учить другихъ. Евтичъ, наиболѣе начитанный среди насъ, поэтъ, хорошо извѣстный сербскому юношеству, былъ руководителемъ нашихъ работъ. Отъ имени нашей группы онъ переписывался съ единомышленниками по всей странѣ, руководя образованіемъ новыхъ кружковъ въ провинціи. Блѣдный и нервный, съ большими черными глазами, съ всклокоченными смоляными волосами, смѣлый и мечтательный, онъ былъ для насъ непререкаемымъ литературнымъ авторитетомъ.

На собраніяхъ нашего кружка Принципъ, младшій среди насъ, всегда сумрачный и скромный, держался какъ бы въ сторонѣ. Онъ избѣгалъ теоретическихъ споровъ, но всегда требовалъ книгъ и жадно пожиралъ ихъ. Принципъ былъ сынъ мелкаго торговца изъ деревни въ Граховѣ, около Ліевно. Эта часть Грахова была нѣкогда населена сербскими гайдуками, которые вели кровавую борьбу противъ завоевателей турокъ. Крестьяне Грахова создали поэзію, прославляющую подвиги великаго гайдука Стараца Вуядина и его сыновей Милича и Груица. И теперь еще сербы, старые и молодые, плачутъ подъ звуки граховскихъ пѣсенъ. Четырнадцати лѣтъ Принципъ уже вступилъ въ кружокъ самообразованія. Часть своей гимназической жизни Принципъ провелъ въ Бѣлградѣ, въ той части го-

рода, которая зовется „Зеленый Вѣнацъ“, въ этомъ Латинскомъ кварталѣ сербской столицы. Тамъ въ кофейнѣ онъ ежедневно встрѣчался съ сербскими революціонерами и не разъ слышалъ отъ нихъ рѣчи о необходимости свести счеты съ главнымъ врагомъ сербства, Фердинандомъ Габсбургомъ. Небольшого роста, сутуловатый, но сильный и выносливый, смуглый, почти черный, съ лицомъ, на которомъ внутренняя страсть уже проложила рѣзкія черты, Принципъ проводилъ ночи надъ чтеніемъ. Его книгами были тѣ, которыя говорили о дѣйствіи. Нѣсколько ночей Принципъ провелъ на могилѣ Жерaича въ Кошевѣ. На деревянномъ крестѣ онъ перочиннымъ ножомъ вырѣзалъ два слова: *Богданъ Жераичъ*, и усадилъ могилу цвѣтами, которые принесъ изъ Сараева.

Къ нашему же кружку принадлежалъ Ильичъ, фактическій организаторъ сараевскаго покушенія. Воспитанникъ учительскаго института, онъ затѣмъ короткое время былъ сельскимъ учителемъ въ Герцеговинѣ, но не ужился и вернулся въ Сараево.

Въ 1909 году онъ покидаетъ страну, направляясь въ Швейцарію, безъ связей, безъ средствъ, отъ пристанища къ пристанищу. Пѣшкомъ онъ переходитъ изъ Цюриха въ Бернъ, Лозанну и Женеву и возвращается черезъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Боснію. Онъ разсказываетъ намъ, еще ни разу не покидавшимъ Боснію, что онъ побывалъ въ самой Женевѣ, и мы слушали его, какъ мусульмане слушаютъ паломника, который вернулся изъ Мекки. Въ Босніи онъ занялся переводами Горькаго, а наканунѣ послѣдняго покушенія началъ издавать собственный органъ „Колоколъ“. Въ первой же статьѣ онъ открыто провозгласилъ необходимость освобожденія юго-славянской расы отъ австрійскаго ярма. Это происходило какъ разъ въ дни большого

Сараевскаго заговора, за три недѣли до историческаго дня 28 іюня. Въ длинномъ письмѣ онъ сообщалъ мнѣ — я въ это время находился уже за границей, — что онъ остался одинъ въ редакціи „Колокола“, и призывалъ меня на помощь. Онъ писалъ, что боснійская провинція пробуждается, сознаніе растетъ во всѣхъ слояхъ общества, и журналъ встрѣчаетъ неожиданно широкій откликъ. Въ Дервентѣ, напримѣръ, рабочіе устроили въ пользу „Колокола“ концертъ, который удался на славу и вызвалъ подражанія. Предпослѣдняя открытка была послана имъ изъ N. въ Герцеговинѣ, куда онъ отправился по дѣлу „Колокола“ и гдѣ, вѣроятно, было назначено свиданіе съ конспираторами юга. Подъ его подписью были карандашомъ набросаны нѣсколько словъ другимъ нашимъ товарищамъ, однимъ изъ немногихъ, кому посчастливилось спастись послѣ великой катастрофы... „Колоколъ“ становился съ каждымъ номеромъ все болѣе воинственнымъ. Это изданіе осталось послѣднимъ литературнымъ памятникомъ нашего поколѣнія, которое такъ быстро сгорѣло на кострѣ національной борьбы. Послѣдній разъ Иличъ вмѣстѣ съ Принципомъ писали мнѣ за нѣсколько дней до покушенія. Они сообщали о внутреннихъ распряхъ въ нашемъ прежнемъ сараевскомъ кружкѣ, вызванныхъ какими-то новыми обстоятельствами; объ этихъ послѣднихъ говорилось иносказательно и туманно. Быть можетъ, нѣкоторые друзья были противъ дѣла 28 іюня и пытались оказать моральное давленіе на группу, стремившуюся къ дѣйствію во что бы то ни стало. Мнѣ было больно читать это тревожное письмо, написанное рукою Принципа и дополненное нѣсколькими фразами Илича. Я готовился отвѣтить имъ въ духѣ умиротворенія, какъ вдругъ на весь міръ прозвучалъ выстрѣлъ Принципа. Мой молодой другъ былъ далекъ отъ мысли,

что его героическій выстрѣлъ вызоветъ нынѣшнюю міровую войну. И, вѣрьте мнѣ, когда я читаю описанія сраженій, въ мозгу моемъ жжетъ и сверлитъ страшная мысль: неужели все это вызвано нами?

* * *

На этомъ кончается рукопись молодого серба. Выстрѣлъ Принципа положилъ конецъ не только жизни австро-венгерскаго престолонаслѣдника, но и сербскому терроризму. Цѣлое поколѣніе австро-сербской интеллигенціи, не успѣвшее выйти изъ юношескаго возраста, сошло или сходитъ со сцены. Попытки освобождать націи при помощи пистолетныхъ выстрѣловъ покажутся смѣшными и игрушечными послѣ того, какъ подъ знакомъ національной идеи гремѣли мерзеры съ пастью въ 30 и болѣе сантиметровъ. И этотъ результатъ все равно скажется, какъ бы ни закончилась война. Если бы усиліями народовъ созданы были въ результатѣ ея должныя условія сожительства національностей на юго-востокѣ Европы, національное движеніе уступило бы мѣсто соціальному въ наиболѣе благопріятныхъ для дальнѣйшаго развитія условіяхъ. Если же допустить, что и послѣ нынѣшней катастрофы сохранятся старыя границы, проходящія по живому тѣлу націй, тогда на всю ближайшую историческую эпоху энергія отсталыхъ народовъ уйдетъ на экономическое и культурное приспособленіе къ старымъ границамъ — въ атмосферѣ національнаго разочарованія и безразличія. Такъ или иначе, поколѣніе Жераичей, Юкичей, Иличей и Принциповъ сходитъ со сцены.

Парижъ, февраль 1915 г.

Три мѣсяца во французскомъ флотѣ.

(Разсказъ сербскаго волонтера.)

Въ тотъ день, когда австрійцы послали въ Бѣлградъ свой ультиматумъ, я находился въ Брюсселѣ, слушая, безъ особеннаго порядка, кое-какія лекціи, думалъ о друзьяхъ, съ которыми разстался, и еще о будущемъ. Родомъ я изъ Герцеговины, сынъ крестьянина. Послѣ горъ моей родины Европа казалась мнѣ необъятной, радовала и пугала меня. Изъ Женевы я 26-го іюля 14-го года получилъ открытку отъ своего друга, австро-сербскаго революціонера, который былъ одной изъ надеждъ молодой Босніи. Черезъ три мѣсяца онъ, въ качествѣ боснійскаго дезертира и сербскаго волонтера, попалъ въ плѣнъ къ австрійцамъ и былъ толпою заживо сожженъ въ Сребренницѣ, недалеко отъ сербской границы. Вотъ что онъ писалъ мнѣ: „Война почти неизбѣжна. Я не могу болѣе оставаться въ Женевѣ,—очень тяжело. Разслѣдованіе боснійской полиціи по поводу покушенія сводитъ меня съ ума. Сколько погибнетъ, сколько погибнетъ! Если думаешь ѣхать со мною въ Сербію, пріѣзжай сейчасъ сюда. Или, если невозможно, поступимъ во Франціи волонтерами, чтобы сражаться противъ тѣхъ, кого больше всего ненавидѣлъ нашъ учитель Бакунинъ“. Въ тотъ же день я получилъ телеграмму отъ другого товарища изъ Парижа: „Пріѣзжай, вмѣстѣ отправимся“. 28-го я былъ въ Парижѣ. Здѣсь мы направились въ сербское посольство. Но тамъ царила полная сумятица, всѣ были растеряны, никто не зналъ, что дѣлать, и не могъ подать намъ совѣта. Необходимо что-нибудь предпринять, но что? Такъ прошла недѣля полной безпомощности. Казалось, что тонешь въ надвигающихся собы-

тіяхъ, и ни откуда нѣтъ спасательнаго круга. На седьмой день я наткнулся на извѣстнаго сербскаго журналиста въ Парижѣ, N. Это одинъ изъ тѣхъ людей съ хорошимъ проборомъ, которые все знаютъ, всюду имѣютъ связи и въ какомъ угодно водоворотѣ не забываютъ себя. Онъ поставляетъ балканскія свѣдѣнія въ парижскія газеты, у него своя подворотня въ какихъ-то министерствахъ, онъ свой человѣкъ въ нѣкоторыхъ посольствахъ и одновременно въ заграничныхъ кружкахъ сербскихъ революціонеровъ. Къ каждому новому человѣку онъ прицѣнивается опытнымъ глазомъ. Отъ разговора о національномъ идеалѣ онъ безъ перерыва переходитъ къ вопросу о франкахъ и динарахъ. „Я для васъ найду дѣло, — сказалъ онъ, приглядываясь ко мнѣ и къ моему другу,—настоящее дѣло для боснійскихъ революціонеровъ. Вы поступите во французскій флотъ, васъ высадятъ въ Далмаціи, вы будете переводчиками и агитаторами, будете распространять прокламаціи среди населенія Далмаціи и Босніи, поднимите тамъ возстаніе, будете провозить туда оружіе. Во флотѣ хорошо кормятъ и платятъ почти 30 франковъ въ мѣсяцъ жалованья. Кромѣ того, я выхлопочу для васъ по 50 франковъ изъ сербскаго посольства“. Насъ оказалось вокругъ N. 10 человѣкъ: изъ Босніи, Кроаціи, Далмаціи и Славоніи, всѣ въ возрастѣ отъ 20 до 25 лѣтъ,—актеръ, живописецъ, коммерсантъ, остальные студенты, среди нихъ 2—3 человѣка богатыхъ сынковъ, которые получали ежемѣсячно по 300—400 франковъ изъ дому и находили имъ соотвѣтственное примѣненіе въ кабакахъ Парижа. Одинъ оказался бывшимъ австрійскимъ офицеромъ изъ Рагузы,—онъ сразу сталъ для насъ военнымъ оракуломъ. Очень разношерстная компанія! Поднялся безпорядочный разговоръ, продолжавшійся потомъ въ

пути, о сараевскомъ покушеніи, войнѣ, національномъ объединеніи, философіи Бергсона и парижскихъ женщинахъ... Въ Парижѣ нами руководилъ N. Мы настаивали только на одномъ: чтобы наши силы пошли исключительно для сербскаго національнаго дѣла, и рѣшительно отказывались вступать въ иностранный легіонъ. Намъ заявили, что, какъ иностранцы, мы не можемъ быть включены въ составъ флота иначе, какъ черезъ посредство иностраннаго легіона, но что это одна лишь формальность, которая не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій; что нами хотятъ воспользоваться исключительно въ цѣляхъ десанта въ сербскія провинціи Австро-Венгріи. Мой парижскій другъ хотѣлъ зачислиться вмѣстѣ со мною, но я убѣдилъ его оставаться на свободѣ, чтобъ хранить память о нашей сараевской группѣ, и, если обстоятельства позволятъ, возобновить нашу прерванную дѣятельность. Послѣ жаркихъ споровъ онъ согласился. Своему женевскому другу я совѣтовалъ подождать результатовъ моего опыта. Но онъ уѣхалъ въ Сербію до полученія моего письма и погибъ вскорѣ ужасной смертью.

17-го августа я вмѣстѣ съ другими подписалъ договоръ, который на все время войны включалъ насъ въ составъ иностраннаго легіона республиканскихъ войскъ. Въ тотъ же день насъ съ проходнымъ свидѣтельствомъ отправили по желѣзной дорогѣ въ Тулонъ. Привѣтливый „сузофъ“ (sousofficier, унтеръ) встрѣтилъ насъ на тулонскомъ вокзалѣ, перезнакомился съ нами, наговорилъ намъ кучу настоящихъ французскихъ любезностей, предсказалъ быструю побѣду и освобожденіе Сербіи, о географическомъ положеніи которой имѣлъ, впрочемъ, довольно смутныя представленія. Въ депо мы переодѣлись въ форму моряковъ. Намъ предупредительно помогалъ тотъ же сузофъ, такъ какъ мы не

могли сразу справиться съ разными частями флотской обмундировки. Этотъ ритуалъ смѣшилъ и раздражалъ меня, потому что отвлекалъ мысль отъ тѣхъ задачъ, во имя которыхъ я разставался со своимъ штатскимъ, достаточно, впрочемъ, потертымъ платьемъ. Когда все было въ порядкѣ, second maître,—таково было званіе сузофа,—торжественно поздравилъ насъ съ облаченіемъ въ мундиръ. Явился молодой морской офицеръ съ приказомъ сейчасъ же отправляться на судно. Коренастый и молчаливый матросъ,—онъ прибылъ съ офицеромъ,—перевезъ насъ въ шлюпкѣ на броненосецъ. Это было послѣ двухъ часовъ дня. А въ три мы уже отплыли.

Каждая деталь этого дня врѣзалась въ мою память, и въ то же время мнѣ кажется, что это было во снѣ. Новый удивительный міръ открылся предо мною на борту броненосца. Это былъ моментъ отправки, когда каждый мускулъ на суднѣ напряженъ. Матросы, офицеры, всѣ что-то дѣлали, распоряжались, тянули веревки, якоря, произносили непонятныя мнѣ слова команды, стремительно передвигались... Было жарко, солнце ярко горѣло и во всемъ этомъ было что-то красивое, но чуждое и пугающее. Жребій брошенъ!—сказалъ я себѣ... Прозвучалъ гудокъ, на минуту все покрывая и заглущая, и мы отплыли изъ гавани мимо другихъ судовъ. На одномъ изъ нихъ присутствовалъ адмиралъ. Ему на рожкѣ отдана была честь. Съ нами выѣхали еще три крейсера и нѣсколько подводныхъ лодокъ.

Я забылъ прибавить, что въ Тулонѣ къ намъ присоединился, въ качествѣ попутчика, сербъ лѣтъ 50-ти, съ туманными рѣчами и неопредѣленными задачами. Онъ объяснилъ, что будетъ нашимъ старшимъ другомъ и какъ бы отцомъ. Вся фигура его не внушала, однако, никакого довѣрія, начиная съ пожелтѣвшихъ отъ дыма сѣдыхъ усовъ надъ провалившимся ртомъ. Онъ

называлъ себя атташе при сербскомъ посольствѣ и во время дальнѣйшаго плаванія велъ съ нами постоянные разговоры о войнѣ и міровой политикѣ, принимая иногда такой тонъ, какъ если бъ онъ говорилъ отъ имени всѣхъ союзныхъ правительствъ, вмѣстѣ взятыхъ. Свѣдѣнія и заключенія его всегда поражали неожиданностью. Онъ указывалъ на картѣ крючковатымъ ногтемъ, гдѣ будетъ граница объединенной Польши, или объявлялъ, что такая-то союзная держава получитъ Венгрію до Фіуме, или что королемъ самостоятельной Богеміи будетъ Петръ, младшій сынъ черногорскаго короля. Когда его спрашивали, откуда онъ это знаетъ, онъ строго отвѣчалъ: „Это уже рѣшено", или даже такъ: „Мы все предусмотрѣли". Я думаю, что онъ былъ шпіонъ.

Насъ проводили въ каюту къ морскимъ кадетамъ, юношамъ 18—20 лѣтъ, совершавшимъ свое учебное плаваніе. Ихъ было 8 человѣкъ. Они приняли насъ очень учтиво, какъ людей, которые связываютъ свою судьбу съ патріотическимъ дѣломъ Франціи, но сейчасъ же дали намъ понять, что, несмотря на общее помѣщеніе и совмѣстные обѣды, насъ, легіонеровъ, отдѣляетъ отъ нихъ, завтрашнихъ офицеровъ французскаго флота, непереходимая грань. Въ большинствѣ это были хорошо воспитанные отпрыски клерикально-реакціонныхъ семействъ.

Черезъ нѣсколько минутъ насъ позвали къ коменданту судна представляться. Мы подтянули на себѣ наши синія форменныя платья и не безъ волненія переступали порогъ большой, прекрасно обставленной каюты коменданта. Передъ нами сидѣлъ человѣкъ 45—50 лѣтъ, властнаго вида, съ полусѣдой бородой. Мнѣ позже говорили, что это одинъ изъ выдающихся офицеровъ французскаго флота, разносторонне образованный, знатокъ живописи, музыкантъ. Но для насъ во

все время пути онъ оставался только воплощеніемъ безжалостной дисциплины.

— Вы принадлежите къ иностранному легіону? — Этотъ первый вопросъ насъ смутилъ. Мы молчали. Только нашъ „старшій другъ“ отвѣтилъ утвердительно. Комендантъ задавалъ каждому изъ насъ нѣсколько вопросовъ, какъ бы взвѣшивая насъ на ладони.

— Чѣмъ вы занимались?—спросилъ онъ меня, когда очередь дошла до меня. — „Философіей, mon commendant“. — Онъ улыбнулся. — Здѣсь мы не занимаемся философіей, нѣтъ... Но то, что мы будемъ дѣлать здѣсь, пойдетъ во благо Франціи и Сербіи, какъ и всему человѣчеству. — Онъ сказалъ это съ многозначительной твердостью. Все вмѣстѣ длилось десять минутъ. Потомъ насъ отпустили.

Молодые штурманы повели насъ по судну и показывали намъ отдѣльныя части, фамильярно хлопая по нимъ рукою. Мы поднялись на мостикъ и тамъ провели нѣсколько часовъ. Матросы окружали насъ, разсматривали, разспрашивали; большинство изъ нихъ оказались южане, веселые болтуны, сангвиники, меньшинство—бретонцы, сдержанные и даже угрюмые. Здѣсь на суднѣ я впервые подмѣтилъ ярко выраженное различіе провинціальныхъ типовъ Франціи. Въ первые дни плаванія вокругъ каждаго изъ насъ неизбѣжно скоплялся кружокъ свободныхъ въ данный моментъ моряковъ. Разговоры начинались, конечно, съ войны, но въ слѣдующіе дни сбивались и на другія темы. На броненосцѣ было много резервистовъ-южанъ, которые еще только подлежали размѣщенію по судамъ флота. Они непрерывно волновались, куда именно ихъ направятъ, и разспрашивали насъ о военныхъ новостяхъ. Одинъ изъ нихъ, изъ Бордо, съ большими усами, былъ соціалистъ. У него съ собой былъ томикъ Ришпена, а

дома—„весь Жюль Гэдъ“. Онъ объяснялъ мнѣ, что всѣ соціалисты—за войну, такъ какъ война оборонительная...

Иногда я читалъ на палубѣ Элизе Реклю, одинъ томъ котораго имѣлъ съ собою. „Реклю,—замѣтилъ однажды старикъ-сербъ,—вѣдь это главный анархистъ? Я, собственно, тоже анархистъ, но прежде всего нужно отстоять свою націю и православную церковь“. Какъ всегда, его рѣчь состояла изъ самыхъ неожиданныхъ сочетаній.

Ѣхали мы больше трехъ сутокъ вдоль африканскаго берега до Бизерты. На ночь запирались всѣ двери, закрывались изнутри желѣзными заслонками иллюминаторы, тушились всѣ наружные огни, и судно двигалось во тьмѣ. Мы, сербы, спали въ одной каютѣ съ молодыми штурманами, въ гамакахъ. Ихъ разговоры между собою не разъ поражали меня первобытными предразсудками. Въ Бизертѣ мы каждый день уходили съ пропускомъ въ карманѣ въ новый французскій городъ. Гуляли, покупали фрукты у арабовъ, заходили въ кофейни, поднимались на гору, встрѣчали съ мулами старыхъ арабовъ. Они почтительно привѣтствовали насъ на французскомъ языкѣ. Къ девяти часамъ вечера возвращались на судно съ пѣснями, новыми свѣдѣніями о войнѣ и неизбѣжными разговорами о женщинахъ. Въ Бизертѣ мы провели десять дней. На шестой насъ, сербовъ, перевели на транспортное судно, которое должно было доставить насъ въ адріатическій флотъ. Пакетботъ привезъ насъ сначала въ Мальту. Это островъ изъ камня, съ орнаментомъ изъ пушекъ, съ магазинами, прилѣпившимися къ каменной периферіи. Въ общемъ впечатлѣніе угрожающаго кулака, высунувшагося изъ пучинъ морскихъ. Изъ Мальты мы ночью переѣхали въ Корфу. Очень хороша была ночь. Луна и звѣзды, небо и море, просторъ и тепло. Мы пѣли на палубѣ сербскія пѣсни, французы задумчиво слушали.

Это былъ для французовъ печальный моментъ, нѣмцы подходили къ Парижу. Офицеры поздравляли насъ съ сербскими побѣдами, но настроеніе у нихъ было тяжелое.

Въ Корфу явился за нами на пакетботъ лейтенантъ. Мы завтракали. „Готовьтесь сейчасъ высадиться". Старикъ сербъ сразу сталъ официальнымъ, простился съ нами очень величественно, не подавая руки. Насъ раздѣлили. За мной прибылъ паровой катеръ, чтобы доставить меня на крейсеръ. Матросъ-квартирмейстеръ привѣтствовалъ меня маленькой рѣчью во французскомъ духѣ: „Добро пожаловать, сербъ, ça ira bien, мы будемъ сражаться вмѣстѣ, мы побѣдимъ вмѣстѣ, а если нужно, умремъ вмѣстѣ". Мы подъѣхали къ крейсеру съ той стороны, гдѣ помѣщались офицеры. Въ этотъ моментъ распредѣлялись письма и газеты, прибывшія съ курьеромъ изъ Тулона. Всѣ читали, говорили, обсуждали; дѣла тогда шли не очень отрадно. Меня встрѣтилъ адъютантъ, повелъ представляться коменданту. Сухой, черствый старикъ принялъ меня вѣжливо, но разсѣянно и отпустилъ съ ничего не значащей фразой: его мысль, очевидно, была подъ стѣнами Парижа. Меня помѣстили съ тремя санитарами, молодыми бретонцами. Умственно очень отсталые, насквозь проникнутые суевѣріями рыбаковъ и моряковъ, они оказались, однако, недурными товарищами. Теперь я находился въ офиціальномъ званіи переводчика на первоклассномъ военномъ суднѣ новѣйшей конструкціи, быстроходномъ, съ 800-ми человѣкъ экипажа. Я никогда не думалъ, что можно создать такой совершенный механизмъ, гдѣ люди, сталь и мѣдь сливаются въ одно цѣлое. Раздѣленіе труда проведено на кораблѣ съ удивительной законченностью. Матросы, рулевые, механики, электрики, кочегары, артиллеристы, санитары, кузнецы, повара, канцеляристы со своими особыми нашивками, полицей-

скіе,—всѣ становятся на мѣсто, повинуясь разъ навсегда заведенному порядку или внезапной командѣ, которая передается черезъ электрическую клавіатуру. Порядокъ образцовый, дисциплина желѣзная. Человѣческая личность исчезаетъ совершенно, но зато корабль, сѣро-зеленая крѣпость среди такой же воды, становится собирательной личностью. Это не фраза. Крейсеръ „Вальдекъ-Руссо“ или миноносецъ „Пуаньяръ“ — это организмъ съ яркой физіономіей, которую отчетливо представляетъ себѣ и любитъ каждый добрый морякъ. При приближеніи знакомаго корабля матросы пьянѣютъ, какъ при встрѣчѣ со старымъ другомъ, машутъ фуражками, кричатъ вдогонку привѣтствія. Большинство офицеровъ очень образованы, хорошо знаютъ свое дѣло, считаютъ французскій флотъ лучшимъ въ мірѣ, но при этомъ несравненно больше проникнуты сословнымъ духомъ, чѣмъ офицеры арміи. Во флотѣ прочнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, сидятъ клерикально-роялистскія традиціи. „Echo de Paris“ здѣсь самая вліятельная газета. Вступленіе въ министерство Мильерана и Делькассе, какъ правыхъ, вызвало среди офицеровъ полное сочувствіе...

Однажды меня позвали къ коменданту. Была перехвачена безпроволочная нѣмецкая телеграмма, до смысла которой не могли добраться. Я помогъ мало, такъ какъ перехваченный текстъ состоялъ изъ безсвязныхъ отрывковъ. Комендантъ разговорился со мною, разспрашивая про Сербію, про Боснію, и обнаруживалъ детальныя свѣдѣнія, удивлявшія меня. Но познанія его касались почти исключительно военныхъ силъ и природныхъ богатствъ страны.

День за днемъ я сближался съ матросами. Они называли меня „notre serbe“ и относились ко мнѣ дружелюбно. Это нисколько не мѣшало имъ, впрочемъ, спрашивать меня, когда я писалъ сербское письмо:

„вѣдь это то же самое, что по-мадагаскарски, не правда ли?“ Съ нѣкоторыми я крѣпко подружился, особенно съ однимъ рулевымъ изъ Тулона. Мой новый пріятель, непримиримый протестантъ, ознакомилъ меня постепенно съ личнымъ персоналомъ крейсера, и я убѣдился, что между людьми здѣсь невидимо натянута такая же сложная проволочная сѣть, какъ между разными частями корабля.

Нашъ крейсеръ вмѣстѣ со всей эскадрой несъ сторожевую службу, блокируя Адріатическое море у залива Отранто. Каждую недѣлю ѣздили въ Корфу за углемъ. Жизнь протекала въ работѣ, слухахъ, предположеніяхъ и надеждахъ. Вскорѣ въ напряженное ожиданіе вошла монотонность. Время отъ времени она нарушалась появленіемъ какого-нибудь подозрительнаго греческаго или итальянскаго судна. Его останавливали, и офицеръ съ 12-ю матросами отправлялись на обыскъ. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ это событіе питало мысль всей команды. Потомъ снова то же самое: сѣро-зеленый корабль, та же вода и тѣ же люди.

Было нѣсколько бурныхъ дней на морѣ. Тогда на суднѣ становилось плохо. Всѣ, кто свободенъ, забирался въ свою нору, и мы, непривычные, туже подтягивали животъ.

Черезъ полтора мѣсяца жизни на кораблѣ я открылъ на немъ пять негровъ-сенегальцевъ. Это были угольщики и кочегары, глубоко запрятанные на днѣ корабля. Они еле говорили по-французски. Матросы не обижали ихъ, наоборотъ, болѣе интеллигентные обращались съ ними покровительственно. Но негры почти не входили ни съ кѣмъ въ общеніе, жили среди горъ угля, скрытые отъ глазъ, не знали новостей, не читали газетъ и не имѣли никакого представленія о томъ, почему они здѣсь. Ихъ вывезли изъ Сенегаліи, опусти-

ли въ трюмъ, научили кормить углемъ пароходную машину,—и они тоскуютъ въ своихъ темныхъ душахъ по роднымъ рѣкамъ, по семьямъ, по свободѣ. Я раза два участливо подходилъ къ нимъ, и они привязались ко мнѣ, какъ дѣти, благодарные и покорные. Послѣ работы они стали собираться на палубѣ, поджидая меня. Когда я приближался, они радостно вставали навстрѣчу мнѣ, смѣясь и дѣлая знаки руками. Я разсказывалъ имъ военныя новости, они гладили меня по плечу или по рукамъ и говорили: „tu connais tout". Иногда я выказывалъ имъ свою симпатію: хвалилъ Сенегалію, разспрашивалъ про ихъ женъ, про дѣтей,—тогда они плакали, и слезы смѣшивались на ихъ лицахъ съ угольной пылью. И признаюсь, мнѣ самому приходилось не разъ глотать слезы.

18-го сентября мы поднимались съ нашей дивизіей отъ Отранто до Лиссы. Это печальный, безплодный островъ, какъ и прочіе острова далматинскихъ береговъ. Эскадра оставалась скрытой позади, а мы часа три крейсировали вокругъ острова, тщетно пытаясь вызвать австрійскія суда въ открытое море. Ругая на чемъ свѣтъ трусовъ-австрійцевъ, мы снова вернулись въ Отранто и въ теченіе новыхъ монотонныхъ недѣль блокировали Адріатику.

3-го октября почти весь нашъ флотъ—дивизія крейсеровъ и флотилія миноносцевъ—приблизился къ Рагузѣ, на югѣ Далмаціи. Между Антивари и Катарро мы прошли совсѣмъ близко мимо маленькаго австрійскаго городка Будвы, покинутаго жителями. Къ небу густыми клубами поднимался дымъ,—тамъ былъ черногорскій лагерь. Видъ его очень возбудилъ меня. Съ черногорской арміей я, въ качествѣ добровольца, продѣлалъ три мѣсяца войны противъ турокъ. Теперь тамъ есть много моихъ друзей и родственниковъ. Я все, ка-

валось, отдалъ бы въ тотъ часъ, чтобъ пройти къ нимъ...
Нашимъ миноносцамъ удалось разбить маякъ, взяли въ плѣнъ двухъ солдатъ, безрезультатно обстрѣливали аэропланъ, который скрылся въ Катарро. Этими дѣйствіями ограничились и отплыли къ югу.

Снова двѣ недѣли бездѣйствія, ожиданій. 17-го октября наша дивизія съ тремя крейсерами во главѣ подошла къ Катарро. Всѣ суда расположились въ боевомъ порядкѣ, и мы ожидали рѣшительныхъ дѣйствій. Крейсеръ „Вальдекъ Руссо" атаковалъ австрійскій миноносецъ, наше судно не принимало сначала участія въ бою. Сквозь туманъ я видѣлъ только маякъ и Ловченъ, гору черногорскую, на которой похороненъ владыка Нѣгушъ, авторъ „Горскаго Вѣнаца". Противъ „Вальдека" вышли изъ бухты двѣ подводныя лодки. Объ этомъ по безпроволочному телеграфу дали знать съ Ловчена, оттуда же впослѣдствіи дали знать, что возвратилась въ бухту только одна. Намъ ясно видно было, какъ лавируетъ „Вальдекъ", избѣгая предательскаго удара. Высоко надъ бухтой показался аэропланъ, и въ то же время форты Катарро открыли огонь. Надъ фортами поднялся шаръ на привязи для обозрѣнія окрестностей. — „Вальдекъ" атакованъ?.. — Мы были въ восьми километрахъ отъ него. Наше судно охватила лихорадка. Все заторопилось и напряглось. Трубитъ командный рожокъ, заряжаютъ всѣ пушки, увеличиваютъ скорость. Самые флегматичные нормандцы мѣняются, точно ихъ спрыснуло живой водой. Нѣтъ страха, а есть какое-то острое... предвкушеніе. Это ярче всего сказалось на комендантѣ, который ходилъ по мостику взадъ и впередъ, твердо ступая ногами и потирая руки, точно передъ богато сервированнымъ завтракомъ. Не связанный никакими обязанностями, я стоялъ подлѣ рулевого. Непрерывно работая, онъ выкликалъ уголъ и скорость

для капитана, который стоялъ на своемъ посту, неподвижно-сосредоточенный, точно вылитый изъ стали, и отдавалъ приказанія рулевому. Капитанъ казался воплощеніемъ математики корабля. Въ это время „Вальдекъ", попрежнему лавируя, стрѣлялъ по тремъ линіямъ: вверхъ—по аэроплану, прямо—по береговымъ батареямъ и внизъ—по опаснѣйшему подводному врагу. Вдругъ телеметристъ замѣтилъ между „Вальдекомъ" и нами перископъ. „Готовься!" Что-то прошло по мнѣ и одновременно по всѣмъ другимъ, всѣхъ остро пронзило и сблизило. Voilà... voilà... voilà... ça commence... Наши артиллеристы даютъ нѣсколько выстрѣловъ, минута невыразимаго напряженія...—цѣлы!..

Мы видимъ, какъ „Вальдекъ" быстро удаляется отъ насъ вдогонку за миноносцемъ, но тотъ скрывается въ бухтѣ. Адмиралъ даетъ приказъ всѣмъ отступать. Что такое? Еще неулегшаяся тревога соединяется съ недоумѣніемъ. Это все? Всѣ говорятъ одновременно, вспоминаютъ, переживаютъ вторично. Черезъ день, 19-го октября, получился приказъ всей эскадрѣ возвращаться въ Тулонъ.

Почему? Никто на суднѣ не отдавалъ себѣ яснаго отчета. Но причины были явно политическія, а не военныя. Высадившись въ Тулонѣ, я выяснилъ, что далматинская экспедиція наткнулась на противодѣйствіе Италіи. Она не безъ основанія считала, что національное возстаніе въ Далмаціи окажется препятствіемъ на пути ея притязаній на эту славянскую провинцію. А союзники готовы были купить содѣйствіе Италіи какой угодно цѣною... за счетъ подлежавшихъ освобожденію сербовъ. Это былъ для меня первый предметный урокъ по части освободительной идеологіи войны.

Парижъ, 26 декабря 1914 г.

Изъ тетради о Бельгіи.

I.

Великія историческія событія, какъ и трагедіи личной жизни, приходятъ всегда неожиданно,—они не происходятъ, а обрушиваются.

Когда разговариваешь съ разсѣянными по Франціи бельгійцами—въ Парижѣ ли, въ Булони, или на мѣловомъ побережьѣ Па-де-Кале, съ военными или штатскими, съ профессорами или рабочими, первая фраза всегда одна и та же: наканунѣ нѣмецкаго вторженія никто въ Бельгіи о войнѣ не помышлялъ. Яркое свидѣтельство поразительной рутинности человѣческаго сознанія, по крайней мѣрѣ, взятаго въ массѣ. Вопросъ о нѣмецкомъ наступленіи черезъ Бельгію совершенно открыто разбирался въ военной литературѣ. Даже въ популярныхъ политическихъ памфлетахъ и газетныхъ статьяхъ о неизбѣжномъ нарушеніи бельгійскаго нейтралитета въ случаѣ войны говорилось сотни и сотни разъ. Но люди заранѣе никогда по-настоящему не вѣрятъ въ наступленіе большихъ фактовъ, какъ отдѣльный человѣкъ не вѣритъ въ глубинѣ души въ собственную смерть. Строили же бельгійцы для чего-нибудь свои крѣпости? Обучали и вооружали солдатъ? Вооружали, строили. Тѣмъ не менѣе бельгійскій генералъ Леманъ такъ же мало вѣрилъ въ то, что эти крѣпости когда-нибудь пойдутъ въ дѣло, какъ и льежскій часовщикъ Жюль Леду, либертеръ, позитивистъ, антимилитаристъ и неомальтузіанецъ. Правда, заднимъ числомъ Леду обнаруживалъ чрезвычайную проницательность. По его словамъ, нѣмцы незамѣченными прошли въ Бельгію 2-го августа, вдоль голландской границы. Онъ обвинялъ власти въ небреженіи и преступной нерѣшительности

и требовалъ „levé en masse“, всенароднаго ополченія. Но все это было уже позже.

По всѣмъ даннымъ, нѣмецкимъ военнымъ властямъ удалось привить своей арміи убѣжденіе въ томъ, что бельгійцы не окажутъ никакого сопротивленія. Солдаты и низшіе офицеры явно разсчитывали пройти по странѣ въ атмосферѣ чуть ли не общаго сочувствія. Они уговаривали жителей не питать никакихъ опасеній, а офицеры платили первое время за все, что забирали, чистымъ золотомъ. Леду увѣрялъ даже, будто видѣлъ на прусскихъ каскахъ небольшіе плакаты съ надписью „Ватерлоо“: онъ въ ней усматривалъ напоминаніе объ услугѣ, оказанной пруссаками бельгійцамъ. Выходитъ, однако, черезчуръ замысловато; чтобы примѣнять такіе тонкіе пріемы, нѣмцы должны были предполагать у бельгійцевъ слишкомъ высокій уровень историческаго образованія... Первыя же оборонительныя дѣйствія бельгійцевъ именно полной неожиданностью своею, особенно поскольку они шли со стороны штатскаго населенія, какъ, напримѣръ, разрушеніе моста въ Визе, 4 августа, вызвали крайнее озлобленіе со стороны нѣмцевъ. Репрессіи пошли съ первыхъ же дней войны. Изъ окрестностей Далемъ, Обель, Эрве прибывали въ Льежъ безпорядочными группами бѣженцы и приносили съ собой, на своемъ валлонскомъ патуа, тучу разсказовъ и слуховъ, создавая атмосферу надвигающагося ужаса. Въ самомъ Льежѣ, когда нѣмецкіе снаряды стали взрываться на улицахъ, недоумѣніе казалось въ первые моменты сильнѣе страха. Обыватели перебѣгали съ мѣста на мѣсто, чтобъ собственными глазами убѣдиться, что снаряды дѣйствительно падаютъ и взрываются. Къ страху примѣшивалась дѣтская безпечность, въ родѣ той, которая овладѣваетъ зрителями на пожарѣ.

Бомбардировка города шла въ теченіе 36 часовъ. Нѣмцы прежде всего завладѣли Брессу, расположеннымъ между фортами Жюпиль и Ла-Аве и представлявшемъ собою самый слабый пунктъ крѣпости, недостижимый для артиллерійскаго огня сосѣднихъ фортовъ. Помѣщенныя тамъ нѣмецкія пушки разрушили въ городѣ нѣсколько домовъ, разгромили газовый заводъ, повредили во многихъ мѣстахъ газовыя трубы, убили и искалѣчили около 25 человѣкъ. Когда ядро падало по сосѣдству, жители квартала, послѣ первыхъ жертвъ, начинали сползать въ погреба. Затѣмъ снова поднимались наверхъ, а смѣльчаки выходили на улицу и ждали, что будетъ.

Послѣ того, какъ нѣмцы предъявили требованіе о сдачѣ Льежа, въ населеніи города сразу обнаружилось два теченія: городскія власти и буржуазные классы уже послѣ первыхъ пушечныхъ ядеръ стояли за соглашеніе съ нѣмцами во что бы то ни стало (въ это время форты еще держались, и дѣло шло только о сдачѣ самаго города, а не крѣпости); въ рабочихъ кругахъ, наоборотъ, требовали самой рѣшительной защиты, были недовольны властями, такъ что возникла даже опасность серьезныхъ безпорядковъ. Льежъ—валлонскій центръ и вмѣстѣ съ тѣмъ важнѣйшій пунктъ бельгійской промышленности, городъ рабочаго движенія и рабочихъ кооперативовъ. На крайнемъ патріотическомъ флангѣ стояли вчерашніе антимилитаристы, а среди нихъ видную роль игралъ бывшій бельгійскій офицеръ Гудремонъ, журналистъ, просидѣвшій въ качествѣ анархиста въ тюрьмахъ Бельгіи около десяти лѣтъ. Для Леду и его друзей Гудремонъ былъ непререкаемымъ авторитетомъ.

При первыхъ же залпахъ нѣмецкихъ пушекъ въ Льежѣ начали возникать проекты организаціи народной са-

мообороны. Гудремонъ собственно уже 4 августа рѣшилъ создать отрядъ волонтеровъ для защиты города и велъ въ этомъ духѣ агитацію въ рабочихъ кварталахъ. 5 августа группа рабочихъ собралась въ эстаминэ (кабачкѣ), встрѣтила сочувственно предложеніе Гудремона и рѣшила дать будущему отряду названіе „Le Coq vallon“, Валлонскій Пѣтухъ. Дѣло шло не о бельгійскомъ, а именно о валлонскомъ пѣтухѣ, какъ извѣстно, не очень дружелюбно настроенномъ по отношенію къ фламандскому гусю. Собраніе прошло бурно, съ подъемомъ, и отправило изъ своей среды депутацію къ либеральному бургомистру, требуя содѣйствія и руководства. Но тотъ боялся патріотическихъ анархистовъ не менѣе, чѣмъ пруссаковъ, находился вообще въ состояніи полнѣйшей растерянности и торопливо отослалъ рабочихъ къ коменданту крѣпости генералу Леману. Депутація, однако, не застала уже генерала въ штабѣ. Генералъ укрывался въ фортѣ Лонсенъ.

Почему такъ произошло, это тоже очень поучительно для характеристики полной неподготовленности бельгійцевъ ко всему тому, что на нихъ обрушилось. Сотня нѣмцевъ появилась неожиданно 6-го августа подъ стѣнами Льежа, гдѣ ее ждали меньше всего. Разсказываютъ, будто пригородные крестьяне, встрѣчавшіе нѣмецкихъ солдатъ, принимали ихъ за англичанъ и кричали имъ: „Vive les anglais!“ Пруссаки захватили по пути бельгійскаго жандарма,—каждый шагъ ихъ свидѣтельствовалъ, что они были освѣдомлены обо всемъ, что касалось ихъ предпріятія!—и приказывали ему вести ихъ въ помѣщеніе генеральнаго штаба. Цѣлью ихъ было, очевидно, уничтожить весь штабъ или, по крайней мѣрѣ, убить генерала Лемана. Ихъ замѣтили въ окна буквально въ послѣдній моментъ. Въ возникшей перестрѣлкѣ убитъ былъ начальникъ генеральнаго штаба

полковникъ Маршанъ. Со стороны нѣмцевъ пало шесть человѣкъ, и трупы ихъ оставались въ теченіе получаса на улицѣ. Остальные успѣли бѣжать. Генералъ Леманъ при первыхъ выстрѣлахъ выскочилъ черезъ окно и скрылся въ фортѣ Лонсенъ. Въ объясненіе этого эпизода утверждали, безъ большихъ, впрочемъ, основаній, будто нѣмецкіе солдаты уже до начала военныхъ операцій жили въ Льежѣ въ качествѣ рабочихъ на электрическомъ заводѣ нѣмца Пипера; тамъ они будто бы переодѣлись и вооружились. Нужно сказать, что въ области Льежа вообще живетъ много нѣмцевъ, преимущественно рабочихъ-углекоповъ. Большинство ихъ переселилось сюда, скрываясь отъ бисмарковскихъ гоненій въ эпоху исключительныхъ законовъ противъ соціалистовъ. У себя въ семьяхъ они и въ настоящее время говорятъ по-нѣмецки. Въ этихъ пограничныхъ мѣстахъ много смѣшанныхъ браковъ. Съ начала войны было на этой почвѣ нѣсколько трагедій, въ томъ числѣ убійство мужемъ-бельгійцемъ жены-нѣмки за ея нѣмецкія симпатіи.

Итакъ, генерала Лемана депутація въ штабѣ не нашла, и организація добровольческаго отряда не состоялась. Въ прогрессистскомъ журналѣ „Экспрессъ“ появилась тѣмъ не менѣе замѣтка о предстоящемъ созданіи Валлонскаго Пѣтуха. Обыватели предмѣстій, главнымъ образомъ рабочіе, прибѣгали въ депо и въ казармы, требуя оружія. Но городскія власти были рѣшительно противъ этой затѣи. „Это нѣмецкая игра“,—отвѣчали нотабли. „Что вы сдѣлаете съ охотничьими ружьями и револьверами?“ убѣждали они непримиримыхъ. „Къ тому же у насъ нѣтъ боевыхъ припасовъ“. Такъ вся затѣя сошла на нѣтъ.

Изъ устъ въ уста передавали, что бургомистръ отправилъ депутата Лежана къ королю съ запросомъ, какъ

быть. Въ предмѣстьяхъ эта вѣсть посѣяла страшную тревогу. „Они всѣ уѣдутъ, а намъ придется оставаться". Власти рѣшили, однако, Льежъ сдать.

Нѣмцы заняли городъ въ 6 часовъ утра. Нѣмецкій офицеръ подъѣхалъ въ автомобилѣ къ мэріи, откуда сейчасъ же вышелъ въ сопровожденіи полицейскаго комиссара бургомистръ Клейеръ, богачъ, старый холостякъ, виверъ, лицо популярное въ городѣ, т.-е. въ его центрѣ. Клейеръ немедленно передалъ нѣмецкому офицеру бумагу, очевидно, актъ сдачи города. Гудремонъ, который, несмотря на свои 58 лѣтъ, поспѣвалъ всюду, стоялъ во время этой сцены на площади противъ мэріи и слышалъ, какъ офицеръ обратился къ бургомистру на прекрасномъ французскомъ языкѣ: „Mon cher Kleyer, вы будете такъ добры проводить насъ до цитадели". По словамъ Гудремона, бургомистръ былъ блѣденъ, какъ стѣна, и рука его дрожала, передавая бумагу. Гудремонъ былъ возмущенъ поведеніемъ главы города: никакого достоинства! Но какое, впрочемъ, это имѣетъ значеніе? Льежъ сданъ. Льежъ въ нѣмецкихъ рукахъ... Сейчасъ же появились на стѣнахъ подписанные бургомистромъ плакаты, въ которыхъ жители предупреждались, что если будутъ уважать солдатъ, то нѣмцы никому не причинятъ вреда.

На Новомъ мосту нѣмцы помѣстили 200 плѣнныхъ бельгійцевъ, чтобы оградить мостъ отъ взрыва. Заложники нѣсколько часовъ простояли подъ дождемъ. И Льежъ увидѣлъ врага собственными глазами, увидѣлъ офицеровъ и солдатъ, ихъ каски, штыки, сѣрые мундиры и покрытые грязью сапоги. Офицеры держали въ рукахъ револьверы наготовѣ, у солдатъ на ружья были насажены штыки; и штыки, и револьверы были направлены на обѣ стороны улицы, и вступавшая въ городъ армія производила впечатлѣніе одной безпощад-

ной угрозы. У окопъ стояли льежцы съ широко раскрытыми глазами и перекошенными лицами. Большинство женщинъ и дѣтей попрятались въ погреба. Дѣти, оставшіяся наверху, недоумѣвающе глядѣли на взрослыхъ. Безсильная ненависть сжимала горло. Никто не вѣрилъ тому, что наблюдалъ глазами. Льежъ въ нѣмецкихъ рукахъ. Полкъ за полкомъ вступалъ въ городъ. Солдаты входили съ пѣснями, съ рѣзкими звуками кларнета и мѣдныхъ литавровъ. Въ городѣ стояла тьма. Газопроводъ не дѣйствовалъ. По пустыннымъ улицамъ, тяжело ступая тысячами сапогъ, продолжали входить съ факелами нѣмецкія войска. Обыватели въ ужасѣ сжимались въ своихъ постеляхъ, болѣе смѣлые подсматривали изъ-за шторъ и говорили, что нѣмцевъ милліоны.

Укрѣпившись въ городѣ, нѣмцы потребовали сдачи еще державшихся фортовъ. Льежцы были убѣждены, что форты неприступны. „Кто же зналъ о пушкѣ 42?" Нѣмцы публиковали въ городѣ о сдачѣ одного форта за другимъ. Но этому не вѣрили, какъ раньше не хотѣли вѣрить, что нѣмецкія ядра падаютъ на улицахъ и разрушаютъ дома.

Городъ превратился въ нѣмецкій военный лагерь. Патрули, автомобили, топотъ сапогъ, штыки на улицахъ, въ кафе, возлѣ мэріи, у входа въ школу, циклисты, музыканты, каски въ окнахъ. Началась жизнь, полная напряженія, непрерывной тревоги и нарастающей опасности взрыва. Нѣмцы уже убѣдились, что бельгійцы сопротивляются, что на дружбу ихъ разсчитывать нельзя, а бельгійцы успѣли въ разныхъ мѣстахъ испытать, какъ нѣмцы караютъ за сопротивленіе. И обѣ стороны ждали всего худшаго другъ отъ друга. Завоеватели ввели неумолимыя правила: въ 6 часовъ всѣ должны быть дома, двери никогда не должны быть

на запорѣ, на каждомъ этажѣ должна быть лампа у окна. Къ концу августа отношенія стали совершенно невыносимы, опасность таилась въ каждомъ углу, каждый несчастный случай, крупный или мелкій, приписывался злой волѣ врага. Бельгійцы не понимали нѣмецкой рѣчи, нѣмцы не понимали бельгійцевъ. Случайно подслушанное и наполовину понятое слово, дополненное напуганнымъ воображеніемъ, переходило изъ устъ въ уста, заражая души тревогой. Въ атмосферѣ, и безъ того насыщенной опасностью, поселялись чудовищные призраки, и достаточно было какому-нибудь хозяину мелкаго кафе придти при расчетѣ въ столкновеніе съ подгулявшими у него нѣмецкими солдатами, чтобы вспыхнулъ кровавый конфликтъ, захватывавшій цѣлые кварталы... Въ случаѣ предполагаемой опасности патрули стрѣляли ночью вдоль пустынныхъ улицъ. Нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что нѣмецкая пуля могла ранить нѣмецкаго же солдата. Но могло быть и иначе. Раненый нѣмецкій солдатъ приходилъ къ своимъ, какъ живой призывъ къ мести. Нѣмцы говорили, что солдатъ подстрѣливаютъ изъ погребовъ франкъ-тиреты. Бельгійцы утверждали, что нѣмецкіе солдаты сами подстрѣливали себя, чтобы избавиться отъ военной службы. Кто могъ въ этой атмосферѣ производить разслѣдованіе, провѣрять слухи и утвержденія? Ружья были заряжены, люди также, и ружья начинали стрѣлять... Нѣмцы утверждали, будто въ ночь съ 12 на 13 въ нихъ стрѣляли изъ окна дома, принадлежавшаго испанцу Оливье, русскіе студенты. Одновременно разсказывали о таинственныхъ трупахъ нѣмецкихъ офицеровъ. Ихъ обнаруживали то тамъ, то здѣсь. Бельгійцы утверждали, будто это самоубійцы; такихъ случаевъ было за два мѣсяца не менѣе восьмидесяти. Гудремонъ думаетъ, что главной причиной была не-

предвидѣнная медлительность военныхъ операцій въ Бельгіи, совершенно обманувшая ожиданія прусскихъ военачальниковъ. Отсюда будто бы крайнее недовольство высшихъ офицеровъ низшими, рядъ суровыхъ наказаній и рядъ самоубійствъ. Нѣмцы объясняли причину сравнительно частаго нахожденія своихъ убитыхъ офицеровъ иначе, обвиняли бельгійцевъ, жестоко карали, искали оружія и, если находили, опять-таки мстили.

Послѣ исторіи съ домомъ Оливье, вызвавшей страшную расправу, всѣхъ русскихъ арестовали. Но не только ихъ однихъ, захватили также цѣлый рядъ „подозрительныхъ" бельгійцевъ. Въ этомъ эпизодѣ была очень красочная подробность. Въ моментъ нѣмецкаго нашествія льежская охранка, бдительная до конца, составила списокъ всѣхъ неблагонадежныхъ элементовъ и на всякій случай представила списокъ генералу Леману на предметъ принятія зависящихъ мѣръ: мы уже говорили объ опасеніяхъ революціоннаго движенія со стороны льежскихъ рабочихъ подъ знаменемъ болѣе энергичной „національной обороны". Впрочемъ, въ тотъ моментъ, когда охрана составляла списокъ, одни и тѣ же лица казались ей подозрительными съ двухъ сторонъ: и какъ антимилитаристы, и какъ черезчуръ горячіе патріоты. Генералъ Леманъ приказа объ арестѣ „подозрительныхъ" патріотовъ не отдалъ, хотя, какъ мы уже знаемъ, ихъ попытка создать отрядъ волонтеровъ не встрѣтила поощренія со стороны верховъ. Когда нѣмцы вступили въ городъ и завладѣли префектурой, они тамъ, въ числѣ прочаго, нашли довольно объемистый списокъ лицъ, угрожающихъ общественному спокойствію. Списокъ былъ, представленъ ими либерально-соціалистической городской управѣ, которая вычеркнула всѣхъ тѣхъ, за кого соглашалась нести отвѣтственность. Судьба остальныхъ оставалась неопредѣленной.

Нѣмцы ихъ до поры до времени не трогали, но въ концѣ августа, когда Льежъ карался огнемъ и мечомъ, вспомнили о спискѣ и стали арестовывать „подозрительныхъ“.

Жюль Леду, желчный часовщикъ, неомальтузіанецъ и отецъ пятерыхъ дѣтей, жилъ неподалеку отъ университета. Онъ наблюдалъ, какъ университетскія зданія постепенно занимались нѣмецкими войсками, превращались въ казармы, кухни и конюшни. Мебель, мѣшавшая лошадямъ, выбрасывалась наружу, бархатныя кресла продавались потомъ на рынкѣ по 50 сантимовъ за штуку. Много также видѣлъ Леду въ случайныхъ рукахъ университетскихъ книгъ. Въ аудиторіяхъ и лабораторіяхъ солдаты располагались на скамьяхъ и столахъ. Каски и ранцы лежали рядомъ съ дорогими аппаратами.

Леду всегда былъ на счету у охранки, какъ ярый „антипатріотъ“, и еще только 2 августа, т.-е. уже въ началѣ европейской войны, льежская полиція производила въ его квартирѣ обыскъ, разыскивая антимилитаристскую литературу. Но теперь обыскъ пришелъ съ другой стороны. Нѣмецкіе солдаты явились въ полуразрушенную квартиру Жюля Леду 18-го августа, на другой день послѣ стрѣльбы въ его кварталѣ. Семья Леду находилась уже въ это время на другой квартирѣ, у сестры жены, такъ какъ 17-го очистили всю ихъ улицу. Патріотическій часовщикъ, захваченный на старой квартирѣ, гдѣ онъ собиралъ свои часовые инструменты, былъ отведенъ въ губернаторскій дворецъ и помѣщенъ въ библіотечной комнатѣ, которую въ теченіе нѣсколькихъ дней заполняли арестованными.

Гудремона, какъ всегда, съ тревогой ждала его жена, изящная въ своемъ поношенномъ платьѣ старушка изъ аристократической консервативной семьи д'Озерей. Женщина съ безукоризненными, хотя нѣсколько старо-

модными манерами, и безупречная католичка, мадамъ Гудремонъ до сихъ поръ, въ сущности, не понимала, какимъ образомъ она связала свою жизнь съ однимъ изъ самыхъ безпокойныхъ людей Бельгіи, котораго она безгранично любила. Два сына ея, двадцати шести и двадцати трехъ лѣтъ, были въ арміи,—младшій, какъ волонтеръ,—и отъ нихъ давно не было вѣстей, а за отца, ставшаго центромъ лѣвыхъ патріотовъ, госпожа Гудремонъ тревожилась не меньше, чѣмъ тогда, когда онъ былъ центромъ лѣвыхъ анархистовъ.

Гудремонъ вернулся къ себѣ домой въ полдень, поцѣловалъ руку своей старой подруги, погладилъ ее по плечу, какъ бы извиняясь за безпокойство, и справился, нѣтъ ли писемъ отъ сыновей. Въ этотъ моментъ со двора вошли два нѣмецкихъ солдата. „Мы васъ ждали", сказалъ ему одинъ изъ нихъ.—Куда вы ведете его?—спросила госпожа Гудремонъ на прекрасномъ нѣмецкомъ языкѣ.—„Мы это знаемъ такъ же мало, какъ и то, куда насъ ведутъ: мы солдаты", отвѣтилъ ей одинъ изъ пришедшихъ на безукоризненномъ французскомъ языкѣ. Вмѣстѣ съ арестованнымъ солдаты отправились по сосѣдству на квартиру къ слѣдующему „подозрительному" по списку, не застали хозяина дома и, впредь до его обнаруженія, взяли жену и дочь въ качествѣ заложницъ. Набрали, такимъ образомъ, въ библіотечную комнату губернаторскаго дома 34 человѣка, изъ нихъ 11 анархистовъ.

Острѣе всего заключенные возмущались поведеніемъ льежской управы, которая не рѣшалась взять на себя отвѣтственность за своихъ „подозрительныхъ" передъ нѣмецкими властями. Льежъ искони являлся „бульваромъ либерализма", клерикалы играли въ немъ ничтожную роль, и управа находилась въ рукахъ либеральной коалиціи. Противъ нея арестованные и направляли

теперь свои проклятія. Кромѣ этихъ 11-ти арестованныхъ за умонаправленіе, были такіе, у которыхъ нашли револьверъ, или такіе, что продавали французскія или англійскія газеты или распространяли изъ рукъ въ руки рукописныя новости, большей частью совершенно фантастическія: о томъ, что англійскій флотъ вошелъ въ Антверпенъ съ неисчислимой арміей, что французы взяли Мецъ, а русскіе сожгли Берлинъ. Было среди арестованныхъ нѣсколько польскихъ и русскихъ студентовъ.

Черезъ недѣлю Леду допрашивали. Профессія?—Механикъ.—Религія?—Безъ религіи.—Въ какой религіи родился?—Въ католической, а сейчасъ атеистъ.—На этомъ кончился допросъ. Одному изъ арестованныхъ предъявили обвиненіе въ кражѣ оружія и ранца у нѣмецкаго солдата, но, какъ оказалось, все обвиненіе было основано на смѣшеніи адресовъ. Черезъ два дня его освободили, остальныхъ задержали.

Всѣ тѣснились раздраженные, озлобленные, въ полной неизвѣстности относительно своей судьбы. Освободятъ или разстрѣляютъ? Одинъ изъ русскихъ студентовъ предложилъ устроить немедленно голодовку съ требованіемъ лучшихъ условій заключенія. Но планъ не встрѣтилъ сочувствія.—„Оставьте насъ въ покоѣ съ вашимъ вздоромъ,—сказалъ желчный Леду.—Для успѣха голодовки необходимо содѣйствіе общественнаго мнѣнія. А на чье содѣйствіе вы надѣетесь? Выпейте воды и ложитесь спать“. У него очень болѣли зубы... Въ теченіе мѣсяца почти всѣхъ отпустили, предупредивъ, что если что-нибудь случится, будутъ арестованы и жены и матери.

Послѣ кровавыхъ событій въ концѣ августа жизнь города стала постепенно входить въ свои берега, отыскивая новыя, временныя формы равновѣсія. И нѣмцы,

и бельгійцы старались какъ можно меньше замѣчать другъ друга. Веселый валлонскій городъ казался придавленнымъ тяжелой чугунной доской, и въ населеніи не было уже прежней нетерпѣливой увѣренности, что дѣло разрѣшится на-дняхъ. Жизнь стала спокойнѣе, но безнадежнѣе. Совершенно парализованныя въ первое время функціи постепенно возстанавливались, никогда, однако, не переходя за предѣлы необходимаго минимума. Всѣ публичныя зданія, театры, школы, увеселительныя заведенія попрежнему заняты непріятельскими войсками; у дверей каждаго изъ нихъ будка въ черныхъ, бѣлыхъ и красныхъ полосахъ, какъ неоспоримое доказательство того, что все это дѣйствительность, а не кошмаръ. Всѣ общественные часы передвинуты по нѣмецкому времени на часъ впередъ. Толпа на улицахъ молчалива, всѣ глядятъ мимо, какъ будто не видя. Безразличной походкой передвигаются лишенные труда рабочіе, заложивъ руки въ карманъ и размѣряя движеніе, чтобы не слишкомъ раздражать аппетитъ, недостаточно успокоенный супомъ муниципальной благотворительности. Карманные часы, въ отличіе отъ публичныхъ, сохраняютъ попрежнему бельгійское время. Въ жилетныхъ карманахъ, какъ и въ сердцахъ, тикаетъ надежда на возстановленіе независимости Бельгіи. Иногда льежскій изгнанникъ Леду получаетъ въ обходъ нѣмецкой цензуры письмо, разсказывающее о стѣсненіяхъ, упадкѣ духа и надеждъ и заканчивающееся словами: „Скажите французамъ, чтобы они поторопились освободить насъ“.

II.

Монсо, валлонскій городокъ съ населеніемъ въ десять тысячъ душъ, лежитъ на Самбрѣ, въ трехъ кило-

метрахъ отъ Шарльруа. Еще 22 августа шарльруаскія газеты утверждали, что опасность со стороны нѣмцевъ есть миѳъ, что ихъ отбрасываютъ все дальше. А между тѣмъ они прибывали все ближе и 22 августа вошли въ городъ, одновременно съ успокоительными завѣреніями газетъ. Кинифъ, жестяникъ и паяльщикъ съ улицы Тразни, видѣлъ десятокъ французскихъ солдатъ, которые вошли въ городъ, осматривали съ башни окрестности, а затѣмъ по дорогѣ, ведущей въ городъ съ сѣвера, разбрасывали бутылки и битое стекло чтобъ затруднить вступленіе нѣмецкой кавалеріи. Приблизительно черезъ часъ послѣ этого показались на шоссе нѣмецкіе уланы, человѣкъ 25, не болѣе. Вмѣстѣ съ женой и тестемъ Кинифъ стоялъ у окна и наблюдалъ, какъ уланы увѣренно и безпечно подъѣзжали къ мэріи. Они не ожидали никакого сопротивленія. Вдругъ выстрѣлъ. Подъ переднимъ уланомъ лошадь дико шарахнулась, сдѣлала два прыжка и грохнулась вмѣстѣ со всадникомъ на другой сторонѣ улицы. Въ отрядѣ наступило страшное замѣшательство. Кто? Откуда? Сейчасъ же за этимъ еще выстрѣлы — три улана упали на мостовую. Остальные опомнились, повернули назадъ и вскачь исчезли въ пыли. Какъ только нѣмцы удалились, жители изо всѣхъ домовъ стали выбираться на улицу и вокругъ раненыхъ улановъ скопилась толпа. Потомъ, когда этотъ эпизодъ пріобрѣлъ такое трагическое значеніе для города, обыватели Монсо объяснили, что стрѣляли французскіе солдаты, скрывшіеся въ засадѣ, — тѣ самые десять пѣхотинцевъ, которые будто бы битыми бутылками посыпали шоссе. Такъ или не такъ это, провѣрить нельзя. Изъ ближайшей большой мебельной лавки захватили четыре пары носилокъ, уложили на нихъ четырехъ раненыхъ и отнесли въ аптеку. Дѣлали это безъ симпатіи, но и безъ ненави-

сти, дѣловито и даже весело. Кинифъ, человѣкъ ненасытимой любознательности, видѣлъ на переднихъ носилкахъ молодого рослаго нѣмца, блѣднаго, какъ полотно, съ кровавой пѣной у рта и на русой бородкѣ. „Отличная работа!“—сказалъ онъ, обращаясь къ тестю. Тотъ молчалъ, а жена Кинифа, болѣзненная и тихая женщина, плакала.

Всѣ чувствовали себя такъ, какъ если бы опасность миновала совершенно: сунулись нѣмцы въ Монсо и бѣжали. Подробности набѣга передавались изъ устъ въ уста. Кинифъ въ двадцатый разъ разсказывалъ про улана съ кровавой пѣной. „Отличная работа!“ повторялъ онъ всѣмъ. Вдругъ раздались выстрѣлы, не одиночные, а густыми пачками. Это уланы вернулись въ городъ вмѣстѣ съ отрядомъ пѣхоты и митральезой. Началась жестокая расправа. Улицу Тразни обстрѣливали и жгли. Кинифъ видѣлъ, какъ нѣмецкіе солдаты бросали въ дома какія-то кривыя палки для поджога. По его словамъ, нѣмцы кричали при этомъ: „Омъ, омъ!“, но что именно хотѣли сказать, осталось неизвѣстнымъ. На границѣ между Монсо и сосѣдней коммуной Маршьенъ, возлѣ вокзала, нѣмцы установили на всякій случай пушку... Какъ только на улицахъ стихало, изъ оконъ и изъ воротъ высовывались зѣваки; раздавались выстрѣлы,—и снова всѣ прятались въ подвалы. Но Кинифъ, несмотря на всѣ протесты тестя и мольбы жены, сидѣлъ на чердакѣ и чрезъ слуховое окошко глядѣлъ на пожары въ городѣ. Онъ зналъ каждое дерево въ Монсо и безошибочно опредѣлялъ, гдѣ и у кого горѣло. Нѣмецкій патруль обходилъ улицы, стучался у всѣхъ воротъ, входилъ въ дома и искалъ оружія. Оружія у Кинифа не было, если не считать кинжала, который онъ сдѣлалъ себѣ изъ кухоннаго ножа и, крѣпко отточивъ его, спряталъ въ погребѣ.

После ухода патруля Кинифъ рѣшилъ провѣдать мать и младшую сестру. Онѣ жили въ пяти минутахъ ходьбы отъ него, но идти улицей было слишкомъ опасно. Кинифъ перелѣзъ черезъ заборъ и спрыгнулъ къ сосѣду въ огородъ. Пригнувшись пониже, пересѣкъ дворъ, забрался на заборъ и опять свалился въ садъ. Раздавались выстрѣлы, и вдоль дворовъ надъ заборами посвистывали пули. Такъ онъ добрался до домика сестры на улицѣ Санъ-Фіакъ. Сестра была замужемъ за полицейскимъ агентомъ. Мужа не было дома; у дверей Кинифъ засталъ двухлѣтняго племянника, а сестру нашелъ въ постели. Она была ранена пулей въ плечо, стонала и просила пить. Мать ушла два часа назадъ на нѣсколько минутъ провѣдать старшую дочь и не возвращалась. Младшая дочь, съ которой она жила, была ранена уже послѣ ея ухода. Кинифъ перевязалъ сестру, далъ ей вина, накормилъ мальчика и сталъ дожидаться матери. Надвигался вечеръ и необходимо было вернуться домой. Но матери все еще не было. Какъ оставить сестру? Кинифъ рѣшилъ взять ее съ мальчикомъ къ себѣ. Одному ему это было бы не подъ силу. Онъ пробрался къ сосѣду-мяснику Никола, чтобъ попросить помощи. Но тамъ къ нему отнеслись холодно, никто не рѣшался выходить изъ дому. Когда онъ возвращался, раздумывая, какъ быть, къ нему во дворѣ подошелъ Ивонъ, пятнадцатилѣтній сынъ Никола, и предложилъ свою помощь. Это былъ настоящій сынъ улицы, разнузданный подростокъ, гроза квартала, съ папироской въ зубахъ и синими дугами подъ глазами. Вмѣстѣ съ нимъ Кинифъ перетащилъ сестру и мальчика. Раненую поднимали на заборъ, одинъ держалъ ее, а другой перелѣзалъ и принималъ ее на руки. Стоялъ уже вечеръ, но дворы освѣщались пожарами съ улицы Тразни. Сестра все время стонала, а маль-

чикъ плакалъ. Когда добрались уже до своего забора, раздался оглушительный взрывъ, и съ испугу Кинифъ упалъ на землю вмѣстѣ съ сестрой. Въ сосѣднемъ дворѣ взорвалась шрапнель, и освѣщенный заревомъ сосѣдъ, поднявъ вверхъ окровавленную руку, неистово кричалъ: „Sauve qui peut!“ Это нѣмецкая пушка стрѣляла съ вокзала Маршьенъ.

Вернувшись, Кинифъ передалъ сестру съ мальчикомъ женѣ, а самъ снова утвердился на чердакѣ. Ивонъ убѣжалъ домой. Жестяникъ наблюдалъ теперь черезъ слуховое окно, какъ горѣлъ замокъ Буррье, принадлежавшій двумъ старымъ дѣвамъ, богатымъ филантропкамъ Монсо. Замокъ постепенно превращался въ костеръ, отъ котораго исходили густые клубы черно-желтаго дыма. Тамъ тоже раздавались ружейные выстрѣлы.

Къ девяти часамъ прибѣжала мать Кинифа открытой улицей и принесла вѣсть, что убитъ судебный приставъ Альфредъ Жераръ, мужъ старшей дочери. Но всѣ были въ такой степени подавлены и разбиты, что эта новость почти не произвела ни на кого впечатлѣнія. Въ девять часовъ всѣ улеглись въ подвалѣ спать. Снаружи въ ворота кто-то застучалъ, очевидно, патруль—прикладомъ. Но Кинифъ не могъ отъ усталости пошевелить ни однимъ членомъ. Удары стали раздаваться громче. „Пусть дѣлаютъ, что хотятъ“... Еще два-три удара, и стукъ прекратился. Проснулись рано утромъ. Въ городѣ стояла тишина, не слышно было болѣе выстрѣловъ, только кое-гдѣ догорали пожары. Но теперь ужъ никто не мѣшалъ ихъ тушить. Кинифъ вышелъ на улицу и наткнулся на процессію: окруженный нѣмецкими кавалеристами мэръ Монсо, старикъ-клерикалъ, обходилъ улицы и кричалъ одну и ту же фразу, что нѣмцы не будутъ больше никого трогать, если только населеніе не будетъ причинять имъ зла.

Такъ произошло вступленіе нѣмецкихъ войскъ въ Монсо 22 и 23 августа 1914 г.

У мясника Никола Кинифъ узналъ, что сынъ его Ивонъ бѣжалъ въ ту же ночь изъ дому, захвативъ отцовскій револьверъ. Куда онъ дѣвался, никто не зналъ. Только черезъ мѣсяцъ пришла о немъ вѣсть. Ивонъ примкнулъ къ бельгійской арміи, былъ зачисленъ волонтеромъ во второй пѣхотный полкъ, и за дѣло подъ Антверпеномъ, гдѣ онъ одинъ съ митральезой выскочилъ за холмъ и обстрѣливалъ нѣмцевъ на разстояніи пятидесяти шаговъ, ему дали первую нашивку. За участіе въ атакѣ на Изерѣ Ивонъ былъ поименованъ въ приказѣ по арміи и, не достигши шестнадцати лѣтъ, былъ произведенъ въ сержанты.

Жизнь Монсо пришла въ полное разстройство, работы никакой не было, и Кинифъ рѣшилъ обойти всѣ сосѣднія мѣста, чтобы увидѣть, какъ они выглядятъ послѣ нѣмецкаго вторженія. Въ коммунѣ Госли, куда онъ отправился 25 августа провѣдать брата, все было въ полномъ порядкѣ, ни одно оконное стекло не пострадало. То же въ Курсель: завоеватели никого не тронули пальцемъ, и отношенія съ мѣстнымъ населеніемъ сразу установились совершенно мирныя. Кинифъ былъ въ Монтиньи на Самбрѣ и нашелъ тамъ много разрушенныхъ и сожженныхъ домовъ. Въ Шатлэ, наоборотъ, все оставалось цѣло. Въ Ако опять картина разрушенія, священникъ былъ убитъ во время стрѣльбы вдоль улицы. Въ Жонкре никого не тронули, ничего не сожгли, только выставили двери и окна изъ нѣсколькихъ домовъ и вынесли мебель, чтобы очистить мѣсто для лошадей. Ни коровъ, ни кроликовъ, ни куръ не тронули, не говоря уже о людяхъ. Заглядывалъ Кинифъ въ Роктіа и во Фляжъ, двѣ сосѣднія коммуны: тамъ нѣмцы не оставили никакихъ слѣдовъ своего на-

шествія. Зато въ Ланевѣ оказалось много сожженныхъ домовъ. Въ Вальку Кинифъ нашелъ разрушенную церковь: нѣмцы считали, что она служила наблюдательнымъ пунктомъ. На кладбищѣ Вальку стояла кавалерія, повсюду межъ могилъ оставались слѣды лошадей. Были деревни совсѣмъ пустыя. Въ полуразрушенныхъ домахъ оставалась мебель, иногда почти совсѣмъ уцѣлѣвшая, и это только ярче подчеркивало картину разрушенія. Ни одной живой души! Только гдѣ-нибудь на окраинѣ горбатая старуха укрывалась подъ уцѣлѣвшей крышей и продавала рѣдкимъ прохожимъ „la goutte“, можжевеловую водку...

Путешествіе,—Кинифъ все время шелъ пѣшкомъ,—отняло у любознательнаго паяльщика пятнадцать дней. Онъ перевидалъ родственниковъ и друзей, обмѣнялся съ ними впечатлѣніями,—разговоры были очень возбужденные, но скудные и однообразные по мыслямъ такъ какъ событія были слишкомъ грандіозны для захолустнаго бельгійскаго обхвата.

Въ серединѣ сентября Кинифъ вернулся въ Монсо. Здѣсь всѣ оставались на своихъ мѣстахъ, что можно было поправить — поправили, и люди приспособлялись къ новымъ условіямъ, потому что нужно было жить. Общественныя зданія служили квартирами для нѣмецкихъ солдатъ. Они расположились во всѣхъ школахъ Монсо и сосѣдней коммуны Маршьенъ. Офицеры жили на частныхъ квартирахъ. Паническое настроеніе успѣло пройти у обѣихъ сторонъ. Солдаты привѣтствовали обывателей, тѣ отвѣчали. При покупкахъ побѣдители расплачивались нѣмецкими деньгами, преимущественно серебромъ, офицеры старались платить хозяйкамъ за каждую пришитую пуговицу. Вспыхивали отдѣльные тревожные инциденты, но легко улаживались. Какой-то пьяный пруссакъ хотѣлъ стрѣлять

въ парализованнаго старика, не открывшаго ему дверей. Сейчасъ явился патруль, пьянаго обезоружили, онъ ударилъ капрала и попалъ подъ судъ. Осторожное и даже предупредительное поведеніе нѣмцевъ бельгійцы объясняли ихъ страхомъ передъ местью населенія. Въ коммунѣ Андерле были убиты въ октябрѣ таинственнымъ образомъ четырнадцать нѣмецкихъ солдатъ...

Кинифъ возобновилъ работу въ своей маленькой мастерской. Большой механическій заводъ закрылся: не было сбыта, такъ какъ желѣзныя дороги работали исключительно для нѣмецкой арміи. Въ угольныхъ копяхъ работа шла полнымъ ходомъ: подъ Монсо имѣется сорокъ пять шахтъ. Для нуждъ своей арміи—починка автомобилей, велосипедовъ и проч.—нѣмцы все дѣлали сами. Однажды только въ мастерскую къ Кинифу заглянулъ нѣмецъ-циклистъ, прибывшій изъ-подъ Мобежа, по пути въ Брюссель. Нѣмецъ говорилъ слегка по-французски, разговорился о Бельгіи и не то сочувственно, не то испытующе сказалъ: „Дружба Англіи обошлась вамъ недешево"... Кинифъ закончилъ починку, циклистъ не справился даже, сколько долженъ за работу, кивнулъ головой и поѣхалъ дальше. Впрочемъ, онъ очень спѣшилъ.

Прямого голода въ Монсо не было, по крайней мѣрѣ, до средины февраля. Правда, разъ въ теченіе десяти дней совсѣмъ не было хлѣба. Избытка въ хлѣбѣ, впрочемъ, вообще не было, полагалось въ день 200 граммовъ на человѣка. Но мяса, овощей, картофеля было почти достаточно. Нѣмецкіе солдаты занимались нерѣдко благотворительностью, совсѣмъ особой благотворительностью военнаго времени, на которую имъ давало „право" ихъ положеніе побѣдителей. Напримѣръ, на вокзалѣ Монсо или въ Домреми, гдѣ уголь погружался въ вагоны, нерѣдко можно было видѣть,

какъ нѣмецкій солдатъ, захвативъ руками десятокъ брикетовъ, передавалъ ихъ какой-нибудь бѣдной женщинѣ, поджидавшей съ мѣшкомъ за изгородью. Ни солдатъ, ни женщина, разумѣется, ничего не платили, и никто не смѣлъ протестовать. Общество Самбръ-э-Мозель молчаливо мирилось съ этими пріемами болѣе равномѣрнаго распредѣленія богатствъ. Коалиція нѣмецкихъ солдатъ съ бельгійской бѣднотой принимала иногда и болѣе бурныя формы. Такъ, въ Жили лавочникъ продавалъ соль по шести су вмѣсто одного за кило. Населеніе разгромило его лавку при дѣятельномъ участіи нѣмецкихъ солдатъ.

Несмотря на установившіяся болѣе спокойныя отношенія, ненависть къ нѣмцамъ оставалась, разумѣется, во всей своей силѣ. Но покушенія на нихъ становились все рѣже.

Въ началѣ октября, когда трагическая судьба Бельгіи была уже ясна и вѣсти одна другой чернѣе приходили съ разныхъ сторонъ, жива была еще главная надежда — Антверпенъ. Онъ устоитъ, не выдастъ. Но потомъ нѣмцы сообщили о паденіи антверпенскихъ фортовъ. Этому не вѣрили. Но стали доходить слухи окольными путями. Въ души закрадывались сомнѣніе, тоска, отчаяніе. Антверпенъ палъ, взятъ Ипръ, что еще остается отъ нашей несчастной земли? И вдругъ вѣсть: генералъ По идетъ къ Шарльруа съ великими силами, могучая англійская армія высадилась въ Остендѣ. Опять подъемъ, люди весело подмигиваютъ при встрѣчѣ и издѣваются надъ нѣмецкими сообщеніями и патрулями.

Пока не былъ взятъ Гентъ, въ Монсо читалась свободная газета „Либеральная Фландрія“, которая продавалась по шесть су. Но потомъ по части информаціи становилось все хуже и хуже. Оккупированныя коммуны чувствовали себя совершенно отрѣзанными отъ внѣш-

няго міра, выходившимъ подъ нѣмецкой цензурой газетамъ не довѣряли, и на этой почвѣ самые фантастическіе слухи, если только они были благопріятны, встрѣчали довѣріе и быстро распространялись. Въ Шарльруа Кинифъ услышалъ, что Монсо два дня тому назадъ отбитъ у нѣмцевъ. А между тѣмъ самъ онъ въ шесть часовъ утра вышелъ изъ Монсо и тамъ не было никакого сраженія. Кинифъ опровергалъ, но ему никто не вѣрилъ.

— Какъ же, это знаютъ всѣ. Монсо опять въ нашихъ рукахъ, и бельгійское знамя развѣвается на мэріи!..

Въ октябрѣ пролеталъ надъ этими мѣстами французскій авіаторъ Ведринъ и выбрасывалъ прокламаціи. Одна изъ нихъ досталась Кинифу. „Мужайтесь, друзья-бельгійцы,— говорилось въ прокламаціи,— въ теченіе двухъ недѣль вы будете освобождены. Мецъ уже взятъ французами. Русскіе казаки стоятъ въ ста километрахъ отъ Берлина“. Листки за подписью популярнаго авіатора переходили изъ рукъ въ руки, изъ коммуны въ коммуну. Этими сообщеніями и надеждами люди жили.

„Въ теченіе двухъ недѣль вы будете освобождены“. Жадно слушали голосъ пушекъ и по тону и силѣ его старались разгадать ходъ военныхъ операцій. Когда громъ доносился явственнѣе, поднимали головы и говорили: „Ведринъ былъ правъ, союзники приближаются“. Когда противный вѣтеръ отгонялъ звуки пальбы, всѣ притихали и уходили въ себя. Иногда жена лавочника Жилара являлась внезапно съ рынка съ вѣстью, что нѣмцы снимаются съ мѣста и покидаютъ Монсо, должно быть, очищаютъ Бельгію. Худой скептикъ Жиларъ саркастически возражалъ ей, издѣваясь надъ ея легковѣріемъ, но не выдерживалъ характера и кончалъ тѣмъ, что запрягалъ кибитку и уѣзжалъ по дорогѣ въ Монсо, чтобы убѣдиться, что нѣмцы никуда не собираются уходить.

Еще два раза Кинифъ отлучался изъ Монсо. Сосѣди каждый разъ пугали его нѣмецкими строгостями, жена плакала, но любознательный паяльщикъ чувствовалъ непреодолимую потребность освѣжать матеріалъ своихъ бесѣдъ съ сосѣдями. Къ тому же работы въ мастерской было очень мало. Во всѣхъ своихъ путешествіяхъ—на поѣздѣ № 11, какъ говоритъ Кинифъ, т.-е. на своихъ на двухъ — Кинифъ ни разу не наталкивался на какія-нибудь затрудненія со стороны нѣмцевъ. У него даже не спрашивали паспорта.

Въ Жюме, гдѣ надъ мэріей развѣвался нѣмецкій флагъ, въ небольшомъ кафэ Кинифъ нашелъ на стѣнѣ листъ съ портретами нѣмецкихъ соціалъ-демократическихъ депутатовъ. Хозяйка, крупная женщина лѣтъ пятидесяти, оказалась нѣмкой. Она горько жаловалась на своего старика-бельгійца. До этой несчастной войны жили очень дружно, выдали замужъ дочь и женили сына. Но со вторженіемъ нѣмцевъ пошли нелады. Старикъ объявилъ всѣхъ нѣмцевъ негодяями и при самыхъ осторожныхъ возраженіяхъ жены приходилъ въ неистовство. По словамъ того солдата, который укрѣпилъ на стѣнѣ портреты депутатовъ,—Кинифъ объяснялся съ нимъ при помощи хозяйки,— нѣмецкій кайзеръ затѣялъ войну, чтобы освободиться отъ слишкомъ быстро размножающихся соціалистовъ. Кинифу это объясненіе понравилось, и онъ рѣшилъ передать его у себя въ Монсо.

Въ декабрѣ жестяникъ посѣтилъ Шарльруа. Воспоминаніе объ августовскомъ пораженіи французовъ тамъ уже почти изгладилось, нѣмцы жили съ населеніемъ мирно: on disait bonjour à tout le monde. Кинифъ самъ наблюдалъ, какъ какой-то пьяный бельгіецъ безнаказанно надерзилъ нѣмецкому патрулю. Прежней паники уже не оставалось вовсе. Несмотря на строжай-

шее запрещеніе скопляться, бельгійцы собирались нерѣдко на улицахъ группами въ десять и двадцать человѣкъ, узнавали новости, обмѣнивались надеждами. Никому не приходило въ голову стрѣлять въ нихъ, какъ того требовали строгіе нѣмецкіе аншлаги. Даже мэръ осмѣлѣлъ — городскіе мэры во всемъ мірѣ не принадлежатъ къ храбрецамъ — и потребовалъ отъ нѣмцевъ хлѣба для населенія,— иначе онъ, мэръ, не отвѣчаетъ за спокойствіе: шахтеры — народъ ненадежный, они могутъ съ копьями и дрекольемъ вылѣзть изъ своихъ шахтъ. На самомъ дѣлѣ мэръ зналъ, что у шахтеровъ могутъ найтись и ружья, и динамитъ. Нѣмцы, дѣйствительно, доставили хлѣбъ изъ Германіи.

Въ серединѣ февраля Кинифъ рѣшилъ покинуть Бельгію и подготовить условія для переселенія своей семьи за границу. Работы не было никакой, въ домѣ засѣла нужда, и для дѣятельнаго темперамента Кинифа неподвижная жизнь въ полной неизвѣстности становилась невыносимой. Онъ сговорился съ своимъ зятемъ, простился съ женой, и 16 февраля оба тронулись въ путь изъ Монсо въ Брюссель. 52 километра шли пѣшкомъ. Падалъ холодный дождь. Тучи ползли по небу и то застилали луну, то открывали ее. Недалеко отъ города наткнулись на большой костеръ, у котораго, приплясывая, грѣлись нѣмецкіе кавалеристы. Они даже не окликнули прохожихъ. Гдѣ-то въ сторонѣ слышалось тяжелое движеніе поѣздовъ по мокрымъ рельсамъ — это прибывали новыя нѣмецкія войска и амуниція. Сторожа дѣлали фонарями сигнальные знаки. Ни въ пути, ни при входѣ въ Брюссель никто не поинтересовался путниками изъ Монсо. Въ столицѣ висѣли на многихъ перекресткахъ нѣмецкія афиши, приглашавшія милиціонеровъ занять свои мѣста по охранѣ порядка. Но на этотъ призывъ никто тогда не

откликался. На многихъ афишахъ внизу было приписано карандашомъ: on n'ira pas! — не пойдемъ!

Пріятель, у котораго остановился Кинифъ, машинистъ Берюсъ, тайный спиритъ и франкъ-масонъ, разсказывалъ ему много объ успѣхахъ союзниковъ, излагалъ очень сложные, но безошибочные стратегическіе планы и убѣжденно говорилъ о готовности населенія возстать противъ нѣмцевъ. Одна бѣда: проклятые буржуа не хотятъ вооружать рабочихъ. Даже попы лучше ихъ. На-дняхъ въ одной церкви нашли триста ружей,—донесъ, говорятъ, какой-то каменщикъ, работавшій на ремонтѣ зданія. „Но кое-что у насъ припрятано: не всѣ ружья гражданской милиціи сданы нѣмцамъ“... И Берюсъ, повидимому, говорилъ не совсѣмъ впустую.

На другое утро Кинифъ съ зятемъ покинули Брюссель. При входѣ на мостъ Тамизы патруль немедленно потребовалъ у нихъ бумаги и свелъ ихъ въ комендантское правленіе.—„Куда вы направляетесь?“ — „Въ Сэнъ-Никола“. —Кинифъ назвалъ бельгійскій городокъ близъ голландской границы.—„Но туда нельзя пройти безъ пропуска отъ коменданта Шарльруа. Возвращайтесь назадъ!“ Путешественники зашли въ загородную харчевню, гдѣ за столомъ сидѣли два нѣмецкихъ капрала и пили черный стоутъ. Старикъ хозяинъ подробно разсказалъ Кинифу, какъ перейти границу, минуя нѣмецкій контроль. На сто шаговъ вправо отъ поста нашли тропинку, въ четверть часа прошли до берега Тамизы, тамъ дождались парохода и безъ всякихъ препятствій прибыли во фламандскій городокъ Сэнъ-Никола; оттуда пѣшкомъ въ Лакленчъ, уже совсѣмъ подъ голландской границей. Заходить не рѣшились: здѣсь уже ни въ кафе, ни въ отеляхъ пріѣзжихъ совершенно не принимаютъ, опасаясь нѣмецкихъ репрес-

сій за укрывательство бѣженцевъ. Довѣрились мальчику лѣтъ 14, котораго встрѣтили подъ городкомъ. Тотъ вывелъ на тропинку и все объяснилъ. Въ 6 часовъ вечера стали потихоньку ползти впередъ на животахъ. До границы оставалось метровъ семьсотъ. Ползли, прижимаясь, какъ кролики, при первомъ шорохѣ къ землѣ. Такъ добрались до небольшого сосноваго лѣска, уже на самой границѣ. Съ полчаса отдохнули, дальше оставалось шаговъ двадцать, потомъ прыжокъ черезъ ручей метра въ полтора шириной, — это и была граница. Кинифъ и его зять стояли на голландской почвѣ. Но мальчикъ крѣпко внушилъ имъ необходимость бѣжать что есть духу, по крайней мѣрѣ, метровъ сто: по его словамъ, нѣмецкіе часовые убивали, случалось, бѣженцевъ уже на голландской почвѣ и потомъ тѣла переносили черезъ границу. Съ голландской стороны никакихъ военныхъ постовъ не было, очевидно, во избѣжаніе лишнихъ конфликтовъ.

Четыре дня Кинифъ провелъ въ баракахъ Флиссингена и крѣпко жаловался на клерикальный режимъ и на плохой кофе, отъ котораго зудитъ въ ногахъ. Фламандцы тутъ еще уживались, но валлоны были очень недовольны голландскимъ гостепріимствомъ. Изъ Флиссингена Кинифъ переѣхалъ въ Лондонъ и тамъ прожилъ въ лагерѣ двѣ недѣли. Объ англичанахъ ничего худого онъ сказать не могъ: кофе прекрасный, вдоволь сосисокъ и хлѣба, бани и даже концерты. Но жизнь въ лагерѣ была невыносимой, какъ въ тюрьмѣ. Валлоны и фламандцы сразу сплотились въ двѣ враждебныя группы, и изъ-за самыхъ ничтожныхъ поводовъ дѣло нерѣдко доходило до потасовокъ. Кинифъ выправилъ себѣ въ Лондонѣ необходимыя бумаги и черезъ Фолькестонъ перебрался въ концѣ апрѣля въ Булонь. Здѣсь онъ работаетъ на фабрикѣ и ждетъ

призывнаго сигнала. Кинифъ еще не сказалъ своего послѣдняго слова...

III.

Истекшимъ лѣтомъ въ Гаврѣ праздновали 85-ю годовщину со времени провозглашенія самостоятельности Бельгіи. Изгнанная Бельгія вспоминала, какъ этотъ день обычно проводился въ Брюсселѣ — еще только въ прошломъ году: гражданская гвардія, совсѣмъ не воинственная, открывала праздникъ пушечной пальбой, въ церкви св. Гудульды служилось торжественное молебствіе, горожане въ воскресномъ платьѣ, endimanchés, гуляли въ садахъ Cinquantenaire, а вечеромъ толпы стремились на безплатные спектакли. Въ прошломъ году въ это самое время я былъ въ Брюсселѣ,—менѣе, чѣмъ за двѣ недѣли до начала войны. Бельгійское политическое небо казалось тогда совершенно безоблачнымъ. Я жилъ въ маленькомъ отелѣ подъ историческимъ именемъ Ватерлоо. Но ничто, кромѣ имени, не напоминало не только въ отелѣ, но и во всемъ Брюсселѣ о мировой исторіи. Было жарко, празднично и нарядно.

Въ нынѣшнемъ году національный праздникъ былъ отмѣченъ въ бельгійской столицѣ только скопленіемъ народа на площади Мучениковъ, гдѣ похоронены бельгійцы, павшіе въ революціи 1830 года. Съ непокрытыми головами и молча толпа проходила мимо памятниковъ національнымъ героямъ. Городъ оставался будниченъ и тихъ.

Брюссель физически не пострадалъ отъ событій войны: тутъ не было кровавыхъ столкновеній, стрѣльбы на улицахъ, пожаровъ... Но тѣмъ чувствительнѣе отозвался на милліонномъ населеніи тотъ военно-полицейскій режимъ, который неизбѣжно связанъ съ самымъ

фактомъ оккупаціи. Жизнь давно вошла въ норму, но эта норма—ненормальна. Значительная часть населенія живетъ на средства общественной благотворительности. Исчезла бельгійская пресса, эмигрировавъ въ Голландію, Лондонъ и Гавръ. Новая печать и переписка—подъ строгой цензурой. Бельгійцы отличаются выдержкой, умѣютъ склоняться передъ силой и выжидать. Со своей стороны, нѣмецкіе офицеры, которымъ приходится мѣсяцами оставаться въ столицѣ Бельгіи, всячески стараются устранить возможность треній; въ ресторанахъ, кафе и на трамваѣ они подчеркнуто вѣжливы съ публикой, уступаютъ мѣсто дамамъ, даютъ дѣтямъ лакомства. Но отношенія между побѣдителями и побѣжденными не переходятъ за черту внѣшней корректности.

Военныя власти недавно разрѣшили снова открыть террасы передъ кафе,—это почти создало новую эпоху въ жизни города. Большіе театры закрыты. Но маленькія сцены и синема давно открыли свои двери. Брюссельскіе патриціи и патриціанки, однако, не показываются тамъ. Тѣмъ усерднѣе посѣщаются церкви. Не только вѣрные католики, но и невѣрующіе патріоты приходятъ подъ церковные своды—единственное мѣсто, гдѣ свободно возвышается національное знамя и органъ играетъ Брабансону.

Брюссельцы, какъ и вся Бельгія, ждутъ... Временами они забываютъ, что ждутъ и живутъ обыденной жизнью. Но вдругъ надъ городомъ покажется французскій бипланъ и освѣжитъ въ сердцахъ увѣренность, что дѣло еще не закончено. Населеніе высыпаетъ на балконы и крыши и съ жадностью наблюдаетъ полетъ воздушнаго союзника. Снизу открывается пальба. Шрапнель взрывается бѣлыми облачками въ небѣ. На перекресткахъ собираются кучки народа, во многихъ

мѣстахъ раздаются напряженные возгласы. Съ биплана падаетъ нѣсколько бомбъ, городъ оглашается грохотомъ, загорается нѣмецкій ангаръ, взрывается цеппелинъ,—брюссельцы радостно привѣтствуютъ и ждутъ... Имъ кажется въ этотъ моментъ, что рѣшается ихъ судьба. Въ болѣе отдаленныхъ кварталахъ возникаетъ слухъ, что союзныя войска подошли къ городу и что это—голосъ французской артиллеріи. Но потомъ бипланъ, выполнивъ свою работу, улетаетъ. Въ городѣ снова воцаряется спокойствіе. Ждутъ. Въ тиши поговариваютъ о будущей „большой Бельгіи", которая не сможетъ оставаться нейтральной, а должна будетъ выступить на дорогу международной политики. Это будетъ Бельгія до Рейна. Однажды молодые патріоты повѣсили на бульварѣ Anspach большой плакатъ, изображавшій Бельгію, съ красной надписью поперекъ карты: „Временно закрыта по случаю увеличенія помѣщенія"...

Брюссельскій бургомистръ Адольфъ Максъ сидитъ въ крѣпости Глатцъ. Тамъ онъ познакомился въ послѣдніе мѣсяцы съ плѣнными русскими офицерами. Горожане не забываютъ своего мэра и осаждаютъ его матеріальными выраженіями своей симпатіи. Недавно г. Максу пришлось просить не посылать ему такого количества пряниковъ. Въ ожиданіи свободы онъ раскладываетъ гранъ-пасьянсъ изъ картъ, присланныхъ ему дочерью стараго бургомистра де-Мотъ, и пишетъ салонные стихи.

Въ первое время послѣ оккупаціи почтовой службы совершенно не было. Между тѣмъ главная волна эмиграціи уже перекатилась черезъ границу, многія семейныя связи оказались внезапно расторгнутыми,

каждый и всякій кого-нибудь искалъ и о комъ-нибудь справлялся. Въ это время начались нелегальныя почтовыя сношенія черезъ голландскую границу, вначалѣ эпизодическія, затѣмъ правильныя. За тайную перевозку писемъ нѣмецкія власти карали. Но контроль не былъ еще налаженъ. Сотни и тысячи писемъ перевозились ежедневно тайнымъ путемъ въ Маастрихтъ и оттуда разсылались по всей Европѣ. Нѣмецкій надзоръ совершенствовался, но параллельно совершенствовалась и конспиративная почтовая организація. Ея заграничный центръ обосновался въ Лондонѣ. За плату въ 5 франковъ письмо доставляется на домъ адресату въ обходъ нѣмецкой цензуры. Какъ полагается, при всякой нелегальной организаціи бываютъ случаи провокаціи и неизбѣжные „провалы". 21-го мая нѣмецкимъ военнымъ судомъ г-жа Картонъ де-Віаръ, жена бельгійскаго министра юстиціи, была осуждена къ 165 днямъ тюрьмы за тайную переписку внутри страны и съ заграницей. Судьбой жены католическаго министра занялся римскій папа, газеты сообщали о досрочномъ освобожденіи осужденной, потомъ это сообщеніе опровергалось.

Не менѣе строго караютъ нѣмецкія военныя власти за распространеніе англійскихъ и французскихъ газетъ. Тѣмъ не менѣе „Matin", „Temps" и „Times" продаются систематически, и на конспиративной биржѣ всякаго крупнаго города стоитъ на эти изданія опредѣленный курсъ: „Matin" стоитъ въ Льежѣ франкъ, „Temps"— полтора франка, „Times" два франка. Сближенные опасностью и надеждою, обыватели соединяются группами и покупаютъ газеты сообща. Возникла новая отрасль промышленности, а на ея почвѣ выросли вымогательства и шантажъ. Къ зажиточнымъ буржуа бросали въ почтовые ящики запретную газету, а за-

тѣмъ доносили или вымогали деньги подъ угрозой доноса. Многіе сорвали у своихъ дверей ящики для почтовой корреспонденціи или забили ихъ отверстія гвоздями. Одновременно стали возникать мѣстные „подпольные листки“, сперва на гектографѣ, потомъ печатные. Какъ всегда въ такихъ случаяхъ, имъ вѣрили несравненно больше, чѣмъ тѣмъ легальнымъ газетамъ на нѣмецкомъ и фламандскомъ языкахъ, которыя замѣнили исчезнувшую бельгійскую прессу. Въ первую эпоху эти нелегальныя изданія дышали оптимизмомъ.

Эмиграція между тѣмъ, хотя и ослабѣвая, шла своимъ чередомъ. Большинство эмигрантовъ имѣло въ качествѣ единственнаго паспорта „la semelle de leurs bottes“ (подметку своихъ сапогъ). Съ волненіями и рискомъ нелегальнаго перехода черезъ границу знакомились люди, не предназначенные природой ни для какого риска. Графиня д'Онсье и г. Жомотъ, бельгійскій консулъ въ Бухарестѣ, глухою декабрьскою ночью крались, руководимые проводникомъ, черезъ границу у Пюга, мимо дремавшихъ на холодѣ нѣмецкихъ часовыхъ. Г. Жомотъ имѣлъ при себѣ личное письмо къ королевѣ Елизаветѣ. А Жомотъ-сынъ пробирался въ эти самые часы черезъ границу у Кюрнхута, чтобы поступить волонтеромъ въ бельгійскую армію... Старые контрабандисты и предпріимчивые элементы, выбитые нѣмецкимъ нашествіемъ изъ колеи, выдвинули изъ своей среды многочисленные кадры проводниковъ.

Въ первое время казалось, особенно изъ-за границы, что вся Бельгія готова опустѣть. Но трудовыя массы слишкомъ крѣпко связаны съ той землей, на которой онѣ живутъ или которая живетъ ими. Въ концѣ-концовъ оказалось, что выселилось не больше десятой части населенія. Нѣмцы всячески противодѣйствовали эмиграціи и приняли экстренныя мѣры къ тому, чтобы

побудить къ возвращенію богатыхъ эмигрантовъ: они ввели высокій налогъ на имущество отсутствующихъ. Многіе стали возвращаться. Особенно зорко нѣмецкія власти слѣдили за тѣмъ, чтобы бельгійцы военнаго возраста не покидали страны. Всякій, кто помогалъ имъ въ этомъ, подвергался суровому наказанію.

Тѣмъ не менѣе быстро наладился тайный аппаратъ, обширный и развѣтвленный, для пополненія бельгійской арміи. Цѣлый штатъ проводниковъ состоитъ въ распоряженіи гаврскаго правительства, одни—изъ чувства патріотизма, другіе—изъ-за высокой платы. Нѣмцы, чѣмъ дальше, тѣмъ тѣснѣе натягивали сѣть военнаго контроля. Вдоль голландской границы возводили на дорогахъ баррикады изъ камней и древесныхъ стволовъ, обвивая ихъ колючей проволокой, а во многихъ мѣстахъ на шоссе разбрасывали битыя бутылки и старыя жестянки, которыя производятъ шумъ, если кто-нибудь на нихъ натыкается во тьмѣ. Потомъ пропустили вдоль всей границы черезъ колючую проволоку электрическій токъ. Тѣмъ не менѣе, доставить эмигранта незамѣтно до границы бываетъ обыкновенно болѣе трудно, чѣмъ переправить его черезъ пограничную черту. Въ разныхъ мѣстахъ страны имѣются свои узловые пункты, свои конспиративные отели и кафе. При мнѣ въ Гавръ прибыло шесть человѣкъ: крупный антверпенскій коммерсантъ, чиновникъ, фармацевтъ изъ Льежа — они заплатили проводникамъ по 50 франковъ,—и 3 волонтера,—съ нихъ гидамъ запрещено брать какую бы то ни было плату... Иногда переходъ границы принимаетъ болѣе драматическія формы. Недавно цѣлый отрядъ молодыхъ бельгійцевъ—ихъ было 168 человѣкъ—приблизился къ пограничному нѣмецкому посту у Термонда. „Васъ 5 человѣкъ, — сказалъ караульнымъ одинъ изъ бельгійцевъ, — насъ 168. Мы хотимъ пройти въ

Голландію. Вы можете перестрѣлять одинъ-два десятка, но въ концѣ-концовъ мы одолѣемъ васъ, и вы всѣ погибнете"... Часовые переглянулись и молча пропустили эмигрантовъ.

Въ Льежѣ большую роль въ организаціи волонтерства игралъ нашъ старый знакомый Жюль Гудремонъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ ареста, въ началѣ сентября, онъ былъ освобожденъ изъ льежскаго губернаторскаго дома. Несмотря на предостереженія со стороны друзей, старый анархистъ съ головой ушелъ въ патріотическую дѣятельность. Онъ пріобрѣлъ большую популярность среди своихъ обычныхъ политическихъ враговъ. Фанатикъ-энтузіастъ, онъ теперь превратилъ свою вражду къ нѣмецкому марксизму и къ милитаризму въ ненависть къ „бошамъ", проповѣдывалъ борьбу до конца, не останавливаясь ни передъ какими средствами, и очень импонировалъ не только рабочимъ-анархистамъ, но и мелкимъ буржуа Льежа. Сношенія съ Англіей черезъ Голландію были въ это время еще очень легки, можно было получать оружіе, и Гудремонъ возродилъ свой планъ вооруженія льежскихъ рабочихъ, чтобы въ нужный моментъ поднять ихъ на возстаніе. Предложеніе его было, однако, отвергнуто бельгійскими властями. Тогда Гудремонъ дѣятельно занялся агитаціей за волонтерство и переправкой молодыхъ бельгійцевъ черезъ Голландію. По своему семейному паспорту, въ который были вписаны его два сына, онъ перевезъ нѣсколько десятковъ человѣкъ. По утвержденію Гудремона, изъ Льежа и ближайшихъ департаментовъ переправлено было не менѣе десяти тысячъ душъ военнаго возраста. Нѣмцы сдѣлали опытъ: въ случаѣ ухода молодыхъ бельгійцевъ за границу задерживать родителей. Такъ, долженъ былъ изъ Голландіи вернуться въ Льежъ молодой медикъ Фредериксъ, чтобы освободить своего

арестованнаго отца. Но широкаго примѣненія эта мѣра не нашла.

Скоро у Гудремона нашлась болѣе отвѣтственная работа.

Бельгійскія войска отступали по Брабансонской долинѣ къ сѣверу, длинный рядъ полковъ—гиды въ зеленыхъ туникахъ и бархатныхъ штанахъ, уланы въ голубомъ и желтомъ, пѣхотинцы, піонеры, карабинеры, циклисты въ шапочкахъ съ большимъ козырькомъ... Надъ войсками нависала тяжелая туча обреченности. Оставалась еще послѣдняя надежда на Антверпенъ, куда укрылось правительство. Но военныя власти не питали, повидимому, на счетъ крѣпости на Шельдѣ ни надеждъ, ни иллюзій и въ состояніи полной растерянности не принимали элементарнѣйшихъ мѣръ предосторожности. Болѣе проницательные обыватели Льежа съ изумленіемъ глядѣли на то, что важнѣйшіе мосты и рельсовые пути остаются неразрушенными. Мостъ Вальбеноа на желѣзнодорожной линіи Кельнъ—Брюссель—Остенде, какъ и мостъ „18 Аркадъ“ на линіи Намюръ—Франція, хотя и минированные, оставались все время къ услугамъ нѣмцевъ въ ихъ движеніи на сѣверо-западъ. Только менѣе значительный мостъ Аршъ былъ взорванъ по собственной иниціативѣ какимъ-то пѣхотинцемъ. То же самое и съ желѣзными дорогами. Изъ Льежа въ Лувенъ нѣмецкія войска переправлялись въ бельгійскихъ поѣздахъ. По тѣмъ же бельгійскимъ линіямъ шелъ и подвозъ боевыхъ припасовъ. Какъ это могло быть? Не ждали, не предусмотрѣли, растерялись. „Если бы сразу не побоялись принять рѣшительныя мѣры,—такъ обличалъ военачальниковъ Жюль Гудремонъ передъ группою почтительныхъ слушателей,—нѣмцы были бы задержаны въ теченіе несравненно болѣе долгаго времени, и французская ар-

мія получила бы въ свое распоряженіе нѣсколько лишнихъ недѣль". Бельгійскій штабъ только въ сентябрѣ оцѣнилъ все значеніе сдѣланнаго упущенія, когда въ обывательской средѣ, особенно же среди рабочихъ, самопроизвольно зарождалась мысль о необходимости всѣми мѣрами затруднить нѣмецкой арміи передвиженіе по Бельгіи и связь съ германскимъ резервуаромъ. Стали возникать группы добровольцевъ, своего рода бельгійскія четы, для разрѣзыванія телеграфной и телефонной проволоки, взрыванія мостовъ, разрушенія рельсовыхъ путей и пр., и пр. Задача была во всѣхъ отношеніяхъ не легкая. Прежде всего нужно было добыть въ Голландіи необходимое количество динамита и доставить его въ Бельгію. Чтобы взорвать мостъ, нужно было напасть врасплохъ на нѣмецкихъ часовыхъ,—это автоматически влекло за собой безпощадныя репрессіи по отношенію къ ближайшимъ поселеніямъ. Такая перспектива многихъ останавливала. Но только не стараго анархиста, проведшаго 10 лѣтъ въ тюрьмахъ той самой родины, которую онъ теперь рѣшился защищать. Гудремонъ предложилъ военному министру включить его, какъ бывшаго офицера, въ составъ бельгійской арміи,—оба его сына служили уже въ качествѣ солдатъ.—„Послѣ войны я немедленно же возобновлю свою дѣятельность антипатріота и антимилитариста,—такъ писалъ Гудремонъ военному министру,—но сейчасъ мои задачи совпадаютъ съ вашими, и я требую себѣ мѣста въ рядахъ арміи"... Въ мѣстѣ ему было, однако, отказано въ любезной, но категорической формѣ, и сторонники стараго агитатора объяснили отказъ опасеніями властей, какъ бы ихъ учитель не завоевалъ себѣ слишкомъ вліятельное положеніе въ бельгійской арміи.

Тогда Гудремонъ рѣшился дѣйствовать на собствен-

ный страхъ и рискъ. Чтобы проложить необходимые пути, онъ нелегально выѣхалъ на короткое время въ Голландію. Маастрихтъ оказался сплошь заполненъ приходящими и уходящими голландскими войсками, которыя охраняли пограничныя провинціи, объявленныя на осадномъ положеніи. Здѣсь очень скоро, при помощи голландскихъ единомышленниковъ, нашлись необходимыя связи и все, что нужно было для рискованныхъ партизанскихъ операцій. Женщины проносили черезъ границу большія корзины, на днѣ которыхъ лежалъ динамитъ, прикрытый нѣсколькими слоями яицъ. Въ мѣшкахъ муки переправляли пироксилиновыя шашки и револьверы. О своихъ дѣлахъ Гудремонъ не любитъ разсказывать. Но кое-что стало извѣстно со словъ его ближайшихъ помощниковъ. Подъ X. Гудремонъ одинъ взорвалъ желѣзнодорожный мостъ. Это было поздней осенью, въ ноябрѣ, когда шли непрерывные дожди и земля размокла на четверть метра. Старикъ (Гудремону 58 лѣтъ!) вывалялся въ холодной грязи, такъ что самъ превратился въ сплошную кучу грязи, и въ такомъ видѣ подползъ въ сумерки къ мосту—одинъ, съ кинжаломъ и револьверомъ за пазухой,—убилъ беззвучно двухъ часовыхъ кинжаломъ въ грудь, минировалъ мостъ, поджегъ трутъ и до начала розысковъ скрылся изъ окрестностей.

...Такъ старикъ прожилъ три мѣсяца жизнью карбонарія, комитаджія. Но почва слишкомъ сильно нагрѣлась подъ его ногами. Въ началѣ февраля онъ покинулъ предѣлы Бельгіи вмѣстѣ со своей женой, чопорной и благородной старушкой аристократическаго происхожденія, вѣрующей католичкой, которая жила непрерывнымъ трепетомъ за мужа и обоихъ сыновей. Она до сихъ поръ не знаетъ еще, что ея младшій сынъ погибъ при защитѣ Антверпена.

„Седьмой пѣхотный“ въ бельгійской эпопеѣ.

Въ Лувенѣ, какъ и во всей Бельгіи, не вѣрили въ войну до послѣдняго момента, не хотѣли повѣрить даже и въ послѣдній моментъ. Не вполнѣ вѣрили, когда нѣмецкія войска перешли границу. Бельгіецъ — человѣкъ спокойный, съ оттѣнкомъ беззаботности, переходный типъ отъ француза къ англичанину: on ne se fait beaucoup de bile. И когда запылала первая ферма, населеніе все еще надѣялось, что это недоразумѣніе...

Лувенъ—тишайшій городокъ, олицетворяющій Бельгію, собственно, старую Бельгію—ея мелко-буржуазную культурность, клерикализмъ, отдаленность отъ великихъ путей міровой политики, ея провинціализмъ. Въ центрѣ всей жизни этого нынѣ разрушеннаго городка стоялъ университетъ съ его 3—4000 студентовъ. Будущіе прелаты, врачи и адвокаты наводняли центральныя улицы и кафе. Благочестіе не мѣшало веселымъ приключеніямъ. Послѣ попоекъ студенты уносили въ карманахъ спичечницы, пепельницы, чашки и даже пивныя кружки. Это—традиціонная, строго разработанная система студенческихъ реквизицій, къ которой вынуждены приспособляться лувенскіе кабатчики въ своихъ коммерческихъ расчетахъ. Уважающій себя лувенскій студіозусъ съ такой же гордостью подсчитываетъ реквизированныя имъ пепельницы, какъ нѣмецкій корпорантъ свои дуэльные шрамы. Лѣтомъ, во время вакацій, городокъ совершенно замиралъ.

Бельгійскіе студенты пользуются исключительными льготами по отбыванію воинской повинности. Въ Лувенѣ существовалъ спеціальный студенческій батальонъ. Въ качествѣ солдатъ молодые люди ночевали въ казармахъ, а въ качествѣ студентовъ проводили дни въ аудиторіяхъ и анатомическихъ театрахъ. Въ ихъ

числѣ былъ нашъ другъ Дени Де-Бееръ, который перевелся сюда изъ Брюсселя. Отецъ его, суроваго нрава консерваторъ-католикъ, имѣетъ — или, можетъ быть, нужно сказать: имѣлъ — оранжерейный виноградникъ подъ Брюсселемъ, три-четыре гектара, на которыхъ выращивалъ дессертный виноградъ исключительныхъ размѣровъ и столь же исключительной цѣны. Этотъ виноградъ поѣдается преимущественно въ Англіи. Молодой Де-Бееръ былъ юристомъ, работалъ съ среднимъ общественно-необходимымъ усердіемъ, ученіе его близилось къ концу, какъ и его солдатская служба, и реквизированныя вещи занимали уже двѣ полки на его этажеркѣ. Спокойный и расчетливый, не лишенный жовіальности, крестьянскій сынъ monsieur Дени, съ карими близорукими глазками и волосами ежпкомъ относился съ бодрымъ безразличіемъ къ великимъ проблемамъ, волнующимъ человѣчество, и вопросъ о томъ, примкнетъ ли онъ, какъ его отецъ, къ правящимъ клерикаламъ, или свяжется съ либеральной оппозиціей, оставался для него не рѣшеннымъ: это покажетъ будущее, прежде всего кругъ его адвокатской кліентеллы. Вторженіе нѣмцевъ поразило Де-Беера точно громомъ, какъ и весь Лувенъ, какъ и всю Бельгію. Лувенскій студенческій батальонъ раскассировали, и Де-Бееръ съ нѣсколькими „копенами“ (товарищами) вошелъ въ седьмой пѣхотный полкъ, тотъ самый, который получилъ затѣмъ отличіе за битву на Изерѣ. Въ полку было приблизительно поровну фламандцевъ и валлоновъ. Команда ведется на французскомъ языкѣ, а фламандскіе крестьяне въ подавляющемъ большинствѣ не понимаютъ другого языка, кромѣ своего діалекта. Скомандовавъ, офицеръ обычно кричитъ: „Traduisez!“ Кто-нибудь изъ унтеровъ-фламандцевъ переводитъ. Тревога и общая опасность тѣсно сблизили во время походовъ

фламандцевъ съ валлонами,—и тѣ, и другіе почувствовали себя бельгійцами tout court.

Приходилось надѣвать ранецъ и идти противъ врага. Когда Де-Бееръ понялъ, что дѣло серьезное, имъ овладѣло возмущеніе. Какъ? По какому праву? Первая его мысль была: пропалъ университетскій годъ! Что Бельгія можетъ пострадать, объ этомъ онъ въ первые дни серьезно не думалъ, хотя и былъ органическимъ патріотомъ; любовь къ отечеству онъ получилъ такъ же, какъ руки и ноги. Къ нѣмцамъ онъ вражды никогда не питалъ, къ французамъ у него было болѣе непосредственное расположеніе, благодаря общности языка. Если бъ его тѣмъ не менѣе спросили, согласенъ ли онъ стать французомъ, онъ бы только изумился. Mais non, par exemple,—скорѣе ужъ голландцемъ, если на то пошло, несмотря на все прошлое. Начались военныя дѣйствія. Нѣмецкіе уланы пересѣкли границу, три корпуса подошли къ Льежу. Де-Бееръ былъ въ это время въ депо второй дивизіи. Къ льежскимъ операціямъ онъ не имѣлъ отношенія. Въ дѣлѣ подъ Халеномъ также не участвовалъ,—тамъ былъ смѣшанный отрядъ велосипедистовъ-карабинеровъ, гренадеръ короля и гвардейцевъ королевы. Полкъ Де-Беера, седьмой пѣхотный, получилъ крещеніе только подъ Аэрскотомъ... Бельгія почувствовала себя, какъ рыбачья лодка, попавшая между двухъ дредноутовъ, сближающихся для смертельнаго боя. Всѣ вопросы міровой политики сразу встали передъ бельгійцами, такъ какъ всѣ они касались судебъ ихъ страны. Можно ли было пропустить нѣмцевъ черезъ Бельгію? Этой мысли никто не допускалъ, кромѣ небольшихъ коммерческихъ и промышленныхъ круговъ, непосредственно зависящихъ отъ нѣмецкаго капитала. Для крестьянства, для мелкихъ буржуа вопросъ былъ совершенно ясенъ: нѣмцевъ

нельзя пускать. Не потому, конечно, что это запрещено международнымъ трактатомъ, а потому, что нѣмецкая армія, войдя въ Бельгію, врядъ ли захочетъ уходить изъ нея. Кромѣ того, армія попутно заберетъ и перепортитъ все, что окажется на ея пути. Необходимо сопротивляться. Надѣялись почти исключительно на Францію и искренне вѣрили, что вопросъ о судьбѣ Бельгіи будетъ разрѣшенъ оружіемъ въ двѣ-три недѣли. Отголоски французскихъ настроеній перваго періода господствовали въ Бельгіи. Въ депо второй дивизіи жадно набрасывались на парижскія извѣстія и повторяли, что скоро выкинемъ нѣмцевъ и войдемъ съ французами въ Берлинъ.

Дѣло въ Аэрскотѣ, первое сраженіе, въ которомъ участвовалъ нашъ другъ Де-Беeръ, представляется ему теперь, какъ въ туманѣ. Городъ былъ занятъ нѣмцами безъ боя, и седьмому пѣхотному полку приходилось ихъ выбивать. Непріятель былъ въ меньшинствѣ, но защищался упорно, увѣренный, что сила, въ концѣ-концовъ, окажется на его сторонѣ. Стрѣльба шла на улицахъ и въ домахъ, населеніе, не успѣвшее бѣжать раньше, попряталось въ подвалы. Брали домъ за домомъ, иногда этажъ за этажомъ. Де-Беeръ слышалъ вокругъ себя назойливый свистъ пуль, много самъ стрѣлялъ, но не цѣлился и не знаетъ, убилъ ли или ранилъ хоть одного нѣмца. Отчасти ему мѣшала близорукость. Изъ окна одноэтажнаго домика на окраинѣ Де-Беера окликнулъ знакомый солдатъ другой роты, лувенскій гробовщикъ, извѣстный клерикальный агитаторъ Дюбуа. Де-Беeръ заглянулъ въ домъ и увидѣлъ ужасное: на деревянной кровати, поверхъ одѣяла лежала дѣвушка въ окровавленныхъ остаткахъ рубахи, обѣ груди были отрѣзаны, внизу живота зіяла рана. Дѣвушка была мертва... Это было самое страшное, что Де-Беeръ собственными

глазами видѣлъ за все время войны, а онъ видѣлъ многое... Аэрскотъ отобрали, понеся сравнительно небольшія потери, но пришлось вскорѣ отступить передъ свѣжими непріятельскими силами. Въ это время пошли слухи объ отступленіи французовъ, и почва заколебалась подъ ногами. Настроеніе тѣхъ дней, когда, несмотря на надвигавшіяся грозныя событія, солдаты въ депо шутили и хвастались: a Berlin, a Berlin, patati-patata—прошло безвозвратно. Послѣ Халена, Гиста, Аэрскота въ настроеніи седьмого пѣхотнаго произошелъ глубокій переломъ. Стало ясно, что дѣло гораздо серьезнѣе, чѣмъ казалось вначалѣ.

Отъ Аэрскота отступили къ Лувену, который еще не предчувствовалъ въ то время, какая судьба ожидаетъ его. Правительство, въ теченіе нѣсколькихъ дней остававшееся въ Лувенѣ, перебралось 18 октября въ Антверпенъ. Подъ Лувеномъ надо было задерживать наступленіе трехъ нѣмецкихъ корпусовъ. Седьмой пѣхотный былъ въ первый же день назначенъ въ штыковую атаку. Молодой застѣнчивый лейтенантъ сказалъ своей „секціи“ срывающимся голосомъ коротенькую рѣчь. Двигались маленькими группами, пригибаясь къ землѣ и спотыкаясь, неловкіе отъ страха и напряженія. Когда прошли достаточно далеко впередъ, такъ что непріятель сталъ ясно виденъ, капитанъ отдалъ команду, и горнистъ, музыкантъ изъ брюссельскаго ночного кафе, затрубилъ атаку. Бѣжали впередъ, pas gymnasique, постепенно опьяняясь. Непріятельскія пули уже разрѣжали ряды, но этого почти не замѣчали. Горнистъ трубилъ непрерывно. До непріятельской линіи оставалось метровъ 200. Hourra, hourra, vive le roi!.. Вдругъ — рѣчка, вѣрнѣе — большой ручей, метра въ три шириной. Всѣ остановились, какъ вкопаные, не вѣря глазамъ. Путь впередъ оказался перерѣзанъ.

Получалась прямая западня. За рѣчкой, въ сотнѣ шаговъ, сѣрые нѣмцы лежали на животахъ и стрѣляли непрерывно. Пришлось тоже ложиться. Отданъ былъ приказъ отступать—на открытомъ мѣстѣ, подъ непрерывнымъ огнемъ. Седьмой пѣхотный много потерялъ въ этомъ дѣлѣ, пока ретировался въ лѣсъ. Было много легко раненыхъ. Офицеръ Рондей, высокій сутуловатый человѣкъ, очень молчаливый, сталъ сѣрымъ, какъ камень. „Mon commandant,—жалобно скулилъ маленькій сапожникъ Іакобъ, — я раненъ, у меня пуля въ рукѣ“. Онъ повторялъ одно и то же нѣсколько разъ, все болѣе жалобно „Fichez-moi la paix, — отвѣтилъ, наконецъ, офицеръ, не глядя на него,—съ вашей пулей въ рукѣ: у меня ихъ двѣ“. Іакобъ сразу пересталъ скулить. Потомъ это былъ одинъ изъ самыхъ неустрашимыхъ солдатъ въ полку. Къ этому испытанію прибавилось вскорѣ другое. При переходѣ на новую позицію, въ лѣсистыхъ окрестностяхъ Лувена, полкъ неожиданно попалъ подъ огонь. Пули свистѣли на уровнѣ головы. Откуда? Произошло страшное замѣшательство. „Это наши, бельгійцы!“ —крикнулъ вдругъ капитанъ. Бросились въ сторону выстрѣловъ, добѣжали до опушки и — наткнулись на нѣмцевъ. Въ ужасѣ побѣжали назадъ въ лѣсъ. По рядамъ прошло слово „измѣна“.

Въ лувенскихъ лѣсахъ провели трое сутокъ, переходя въ постоянныхъ стычкахъ съ мѣста на мѣсто. Большинство, и въ ихъ числѣ Де-Беeръ, стрѣляли, какъ придется, но нѣкоторые уже стали изощряться въ стрѣльбѣ по живой цѣли. Сержантъ Ренкенъ, рыжій человѣкъ съ хищной челюстью, отличный стрѣлокъ, хвалился, что, скрывшись на деревѣ въ листвѣ, далъ 47 выстрѣловъ и уложилъ 47 нѣмцевъ. Ему вѣрили, зная его глазъ.

Непріятель напиралъ, и пришлось отступать дальше

на сѣверъ, къ Антверпену, покинувъ Лувенъ. Нѣсколько недѣль провели на квартирахъ, занимаясь упражненіями и дожидаясь приказа. Въ дѣлѣ подъ Малиномъ седьмой пѣхотный не участвовалъ. Въ началѣ октября онъ былъ переведенъ подъ Антверпенъ и размѣщенъ въ крѣпостныхъ траншеяхъ первой линіи. Числа Де-Бееръ не запомнилъ. Онъ велъ обстоятельный дневникъ всѣмъ событіямъ похода, но во время паническаго бѣгства отъ Ломбартзиде сбросилъ на шоссе ранецъ вмѣстѣ съ дневникомъ. Какой это былъ страшный день!—собственно, не день, а полчаса.. Но объ этомъ въ свое время.

Стало очевиднымъ, что дальнѣйшее развитіе событій неотвратимо, что Бельгія обречена, что германская армія пройдетъ по ней, какъ сокрушающій катокъ, — и невыразимая, душащая ненависть, ненависть попраннаго безсилія, поднялась въ сердцахъ и подступала къ горлу. Могли ли при этихъ условіяхъ не появиться франкъ-тиреры, отчаявшіеся безумцы, которые давали исходъ ненависти, спуская изъ-за оконной гардины курокъ? Въ клерикальномъ Лувенѣ стрѣляли іезуиты, не защищая, а мстя за Бельгію, наиболѣе гостепріимную для нихъ страну въ Европѣ. Во время отступленія Дюбуа, лувенскій гробовщикъ, часто говорилъ крестьянамъ, которые попадались по пути: „Снимайте со стѣны ваше ружье. За нами по пятамъ идутъ нѣмцы... Faites les boire le bouillon de onze heures!“... Чувство ненависти углублялось, впитывая въ себя все новые и новые факты изъ эпопеи нѣмецкаго нашествія и новые слухи о нѣмецкихъ жестокостяхъ. Было нѣсколько случаевъ, когда офицеру приходилось съ револьверомъ въ рукѣ становиться у группы плѣнныхъ, чтобы отстоять ее.

Въ антверпенскихъ траншеяхъ седьмой пѣхотный впер-

вые узналъ настоящимъ образомъ, что такое артиллерія. Къ пулѣ привыкли совершенно и, сидя въ траншеяхъ, ставили ее ни во что. Къ тому же нѣмцевъ считали плохими стрѣлками. Опаснѣе была шрапнель: она разрывалась наверху, и шрапнельныя пули находили себѣ доступъ въ траншеи. Но страшнѣе всего была граната. Если она попадала въ траншею, она срывала бетонную обшивку, превращая ее въ убійственные метательные снаряды. На мѣстѣ взрыва оставалась смѣсь бетона, глины и растерзанныхъ человѣческихъ тѣлъ. Настроеніе въ траншеяхъ было тягостное—настроеніе обреченности. Относясь съ преувеличеннымъ презрѣніемъ къ нѣмецкой пѣхотѣ, чувствовали свое полное безсиліе передъ нѣмецкой артиллеріей. Послѣ героической защиты Льежа, которая скоро приняла въ народномъ сознаніи легендарныя очертанія, надѣялись, что Намюръ, болѣе сильная крѣпость, продержится въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Между тѣмъ онъ палъ въ два дня. Относительно Антверпена были вначалѣ убѣждены, что эта крѣпость совершенно неприступна. Но, покидая первую линію антверпенскихъ укрѣпленій, солдаты отдавали себѣ безошибочный отчетъ въ томъ, что на голосъ нѣмецкихъ пушекъ у Бельгіи отвѣта нѣтъ. А такъ какъ бельгійская артиллерія дѣлалась у Круппа, то создавалось твердое убѣжденіе, что, выполняя предначертанія генеральнаго штаба, Круппъ снабдилъ Бельгію низкопробнымъ матеріаломъ. Передавали изъ устъ въ уста, что въ Антверпенѣ оказалось много снарядовъ, начиненныхъ опилками. Тревожнымъ слухамъ содѣйствовали отдѣльные трагическіе эпизоды. Подъ фортами Вавръ и Святая Екатерина траншеи занималъ въ теченіе нѣсколькихъ дней шестой полкъ. На смѣну ему прибылъ седьмой. Когда первая рота приближалась къ траншеямъ, раздалось знакомое ввз-ввз.

Первымъ упалъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Де-Беера офицеръ М., тотъ самый, который подъ Лувеномъ получилъ двѣ пули въ руку; на этотъ разъ пуля вошла въ лобъ и вышла черезъ темя. Оказалось, что траншея занята нѣмцами. Какъ это случилось? Никто не зналъ. Опять заговорили объ измѣнѣ. Ожидали англійскаго десанта. Онъ прибылъ, когда бельгійскія войска уже покинули первую линію траншей. Положеніе крѣпости было безнадежно, и эта безнадежность обнаружилась катастрофически въ городѣ, который, несмотря на всю тревогу, доходившую до отчаянія, жилъ до послѣдняго момента инерціей „неприступной крѣпости". Въ часы сдачи крѣпости городъ представлялъ хаосъ.

Седьмой пѣхотный проходилъ черезъ Антверпенъ съ юга на сѣверъ. Это было 8 октября. Не было сомнѣнія, что крѣпость погибла. Всѣ продовольственные склады были настежь открыты, и тамъ всякому приходящему выдавали, что угодно и сколько угодно. Стоялъ пасмурный, но не холодный осенній день. Десятки тысячъ солдатъ проходили правильными ротами, сборными группами и въ одиночку. Нѣкоторые метались съ улицы на улицу, разыскивая свою роту или своихъ друзей, торопились въ продовольственные склады, захватывали тамъ больше, чѣмъ могли унести, или не то, что нужно, и отдавали затѣмъ населенію или просто выбрасывали, чтобы облегчить себя. Потокъ отступающей арміи смѣшивался на улицахъ съ водоворотомъ населенія, доведеннаго до послѣдней степени отчаянія. Магазины опускали надъ окнами желѣзные занавѣсы. Въ другихъ, наоборотъ, дверь оставалась открытой, хотя за прилавкомъ никого не было. Многія тысячи покидали городъ, захватывая кое-какіе пожитки, женщины метались, держа на рукахъ дѣтей и волоча другихъ за руки. Старуха, громко причитая, тол-

кала впереди себя кресло съ парализованнымъ старикомъ. Межъ солдатскихъ рядовъ бѣгали дѣти, съ плачемъ разыскивая родителей. Матери съ грудными младенцами, беременныя женщины, обезумѣвшія отъ страха, хватали офицеровъ за рукава и спрашивали, что дѣлать. Полицейскій чиновникъ, блѣдный, какъ мѣлъ, пытался успокаивать ихъ. Кто-то, перебѣгая черезъ площадь съ поднятыми вверхъ руками, кричалъ, что нѣмцы уже вступаютъ въ городъ. А на встрѣчу шла другая вѣсть, изъ сѣверныхъ кварталовъ, что появилась стотысячная англійская армія, или что англійскій флотъ вошелъ въ устье Шельды. Страхъ, что городъ станетъ мѣстомъ, гдѣ непосредственно встрѣтятся лицомъ къ лицу двѣ гигантскія арміи, еще ярче зажигалъ костеръ безумія. Солдаты проходили черезъ городъ, стараясь не глядѣть по сторонамъ. „Полковникъ,—крикнулъ съ порога своей лавчонки сѣдой бритый старикъ, держа за руку мальчика лѣтъ семи,—вы покидаете насъ на произволъ нѣмцевъ!“ Полковникъ, сидѣвшій верхомъ на лошади, молча, поѣхалъ впередъ. Де-Бееръ тяжело ступалъ рядомъ со своимъ капраломъ. Онъ уже зналъ о судьбѣ злосчастнаго Лувена и видѣлъ въ ней отраженіе судьбы Бельгіи и своей собственной судьбы. Все разрушено, всѣ планы, привычки, надежды... Какъ юристъ, онъ вспомнилъ, что пушки—ultima ratio regum, послѣдній доводъ королей. Только теперь онъ понялъ до дна смыслъ этого изреченія. Нѣмецкій „доводъ“ оказался сильнѣе.

Вытянувшись лентой въ нѣсколько километровъ, бельгійская армія проходила по свѣже-переброшенному черезъ Шельду мосту, 600—700 метровъ длиною, съ южнаго берега на сѣверный. Это было не отступленіе, а страшный исходъ. Полевая армія вмѣстѣ съ антверпенскимъ гарнизономъ, вся военная сила Бельгіи, по-

кидала Антверпенъ, самую сильную крѣпость страны, послѣдній оплотъ національной независимости... Когда разрушили за собой импровизированный мостъ, казалось, что навсегда расторгли связь съ покинутой страной. День былъ пасмурный, временами выпадалъ мелкій, не холодный дождь, дорога была почти сухая. Шли быстро, не разговаривая, не оглядываясь и не спрашивая себя о цѣли пути. „Все кончено,—думалъ Де-Бееръ,— все кончено. Лувенъ разрушенъ, Антверпенъ палъ, въ Брюсселѣ хозяйничаютъ нѣмцы, живы ли родители, неизвѣстно, драгоцѣнный дессертный виноградъ изъ отцовскихъ оранжерей реквизированъ, навѣрно, для офицеровъ нѣмецкой арміи". Напрасно онъ, Дени, въ теченіе 3-хъ съ половиной лѣтъ изучалъ бельгійское право: въ Бельгіи теперь будетъ установлено германское право. Пушки—послѣдній доводъ королей.

Капитанъ первой роты реквизировалъ по дорогѣ нѣсколько телѣгъ, на которыя сложили ранцы. Стало легче идти, когда съ каждыхъ плечъ было сброшено около двухъ пудовъ. Шли попрежнему быстро, безъ пѣсенъ, безъ шутокъ, безъ словъ, перекладывая ружье съ одного плеча на другое. Ряды были не стройны, но безпорядка не было. Иногда изъ-подъ усовъ раздавалось ругательство или рука дѣлала движеніе угрозы въ неопредѣленномъ направленіи. Послѣ каждаго часа пути звучалъ свистокъ. Останавливались, снимали съ телѣгъ ранцы, садились на нихъ, отдыхали пять минутъ. По свистку поднимались и снова шли часъ. Куда? Никто не зналъ, никто не задумывался: назадъ уже все равно не было возврата. Низшіе офицеры шли тутъ же, рядомъ, безъ команды и безъ словъ ободренія. Полковое знамя везли въ автомобилѣ возлѣ полковника, который ѣхалъ на конѣ. Во фламандскихъ деревняхъ по дорогѣ не останавливались, съ населеніемъ почти не разго-

варивали, шли точно по чужой странѣ. Горячей пищи не готовили, кормились тѣмъ, что захватили изъ продовольственныхъ складовъ Антверпена. Шли весь день, потомъ ночь и потомъ еще до полудня—тридцать шесть часовъ безъ отдыха и сна. Къ первой ночи нервы напряглись такъ, что никто не чувствовалъ усталости. Казалось, что ноги, освобожденныя изъ-подъ контроля сознанія, уносятъ сами и что этому движенію не будетъ конца. На второе утро почувствовалась усталость. На ступняхъ появились ссадины и трещины, у большинства въ сапогахъ была кровь, многіе хромали. Такъ прошли сто километровъ до Сельзаетъ, желѣзнодорожной станціи на голландской границѣ. Седьмой пѣхотный оставлялъ позади себя первую часть бельгійской эпопеи.

II.

Тридцать шесть часовъ шла армія отъ Антверпена до Сельзаета. Тамъ седьмой пѣхотный погрузили въ поѣздъ. Де Бееръ какъ вошелъ въ вагонъ, такъ легъ на полъ и, едва успѣлъ скинуть ранецъ, заснулъ. Его разбудили въ Остенде и отвели на квартиру въ какой-то пансіонъ. Онъ проспалъ ночь мертвымъ сномъ, къ утру едва разбудили. Полкъ снова выступалъ въ походъ. Шли цѣлый вечеръ, чувствуя во всѣхъ мышцахъ боль послѣ великаго отступленія. Къ вечеру пришли на Изеръ. Въ кровавой эпопеѣ открывалась новая глава.

Въ тотъ самый часъ, какъ передовые бельгійскіе отряды приближались къ Изеру съ запада, съ востока подходили къ канализированной рѣкѣ нѣмцы. У солдатъ было такое чувство, что весь запасъ данной имъ природой энергіи они уже израсходовали въ бояхъ и походахъ подъ Аэрскотомъ, Лувеномъ, Антверпеномъ, и что исходъ ихъ изъ этой крѣпости былъ концомъ цѣ-

лой эпохи ихъ жизни. А между тѣмъ нужно было начинать сначала: нѣмцы стояли по ту сторону рѣки. Офицеры говорили: „Не падайте духомъ, вечеромъ насъ смѣнятъ. Нужно только задержать врага до прихода союзниковъ“. Но наступалъ вечеръ, и никто не приходилъ. Такъ, въ ожиданіи, прошло двѣнадцать вечеровъ. Вся бельгійская армія, т.-е. все, что еще въ ту пору оставалось отъ нея, не менѣе пятидесяти тысячъ человѣкъ, задерживала на Изерѣ въ постоянномъ огнѣ натискъ непріятеля.

Де-Бееръ возмужалъ за этотъ періодъ физически. Его ни разу [не ранило ни пулей, ни шрапнелью, ни осколкомъ гранаты, къ которой онъ чувствовалъ особую антипатію. Ему это казалось изумительнымъ, и время отъ времени, особенно послѣ хорошаго, укрѣпляющаго сна, онъ съ радостью ощупывалъ свои руки и ноги. Но въ сущности надъ Де-Бееромъ исполнялся только неотвратимый законъ статистики. Въ каждой войнѣ бываетъ извѣстное количество солдатъ, которые остаются не искалѣченными, не получаютъ даже царапины. Де-Бееръ принадлежалъ, очевидно, къ ихъ числу.

Первые восемь дней на Изерѣ были сравнительно легкимъ временемъ, особенно, если сравнить ихъ съ послѣдними четырьмя днями. Артиллерія удерживала нѣмцевъ на разстояніи нѣсколькихъ километровъ, не подпуская ихъ къ рѣкѣ. Нѣмцы дожидались болѣе тяжелыхъ орудій для открытія наступленія. Бельгійскія войска копали траншеи и устраивались въ нихъ. Де-Бееръ выработалъ свой собственный способъ рытья индивидуальныхъ траншей и этому способу придавалъ большое значеніе. Шли дожди, почва размягчалась, и солдаты все больше погружались въ грязь.

На третій день стоянки на Изерѣ Де-Бееръ возвращался вечеромъ съ работъ на траншеѣ въ свою „квар-

тиру“—потный, весь въ грязи, съ киркой и заступомъ на плечѣ, съ мѣшкомъ за спиною. У входа въ траншею второй линіи кто-то остановилъ его.

— Вы Де-Бееръ?

Студентъ не сразу разсмотрѣлъ сквозь грязныя стекла очковъ, кто передъ нимъ.

— Да, я... я, mon colonel.

— Вы были студентомъ юридическаго факультета?

— Да, mon colonel.

— Кажется, послѣдняго курса?

— Да, mon colonel.

— Такъ вотъ что... Завтра у насъ состоится военный судъ. Тринадцать обвиняемыхъ... Вы будете защитникомъ.

Де-Бееръ обомлѣлъ.—Какъ? Защитникомъ на военномъ судѣ? Но онъ никогда въ жизни еще не защищалъ. И, кромѣ того—тринадцать обвиняемыхъ, онъ ихъ не видалъ и не знаетъ совершенно дѣла, а судъ завтра утромъ...

— Это ничего,—успокоилъ его полковникъ.—У насъ нѣтъ свободнаго офицера, а съ дѣлами познакомитесь на судѣ. Итакъ, завтра въ девять часовъ въ деревнѣ, въ помѣщеніи штаба.

— Хорошо, mon colonel.

Де-Бееръ, несмотря на усталость, спалъ тревожно въ эту ночь, точно передъ экзаменами. На другой день онъ счистилъ съ себя, насколько могъ, грязь, вымылъ тщательнѣе обыкновеннаго лицо и руки, которыя уже давно перестали походить на руки студента, и отправился на судъ.

Всѣ тринадцать обвиняемыхъ оказались бельгійскими солдатами, по дѣламъ о нарушеніи дисциплины. Нѣкоторымъ грозила смертная казнь. Де-Бееръ занялъ свое мѣсто съ такимъ чувствомъ, какъ если бы онъ

былъ четырнадцатымъ обвиняемымъ. Но скоро привычная разсудительность помогла ему не только успокоиться, но и найти то мѣсто, какое онъ, какъ солдатъ, могъ занять между обвинителями-офицерами и обвиняемыми-солдатами, чтобы не слишкомъ затруднять себѣ самому положеніе въ будущемъ. Докладчикъ излагалъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ сущность каждаго дѣла, и изъ этого доклада Де-Бееръ почерпалъ матеріалъ для допроса немногихъ свидѣтелей и для своей защитительной рѣчи. Одного изъ обвиняемыхъ оправдали,—это былъ фламандецъ Экхаутъ, сынъ зажиточнаго крестьянина, простоватый, немногорѣчивый парень, обвинявшійся въ неповиновеніи рыжему сержанту Ренкену, тому самому, который хвалился, что съ вершины дерева застрѣлилъ одного за другимъ 47 нѣмцевъ. Опаснѣе всего было положеніе артиллериста, который грозилъ смертью лейтенанту. Не слишкомъ высовываясь впередъ, Де-Бееръ черезъ посредство свидѣтелей помогъ обвиняемому обнаружить, что лейтенантъ настойчиво и злостно преслѣдовалъ его. Обвиняемый получилъ минимальное наказаніе: три года каторжныхъ работъ. Но было двое обвиняемыхъ, которыхъ самъ Де-Бееръ готовъ былъ приговорить къ смерти. Это—часовые, покинувшіе свои посты въ виду непріятеля и ушедшіе спать въ траншею. Защитникъ сразу почувствовалъ въ себѣ солдата, который по винѣ часовыхъ просыпается подъ нѣмецкимъ штыкомъ... Къ 12 часамъ дня судъ закончился. Полковникъ похлопалъ защитника по плечу, а потомъ прислалъ ему двѣ пары теплаго бѣлья. Это былъ первый адвокатскій гонораръ Дени Де-Беера.

На девятый день, на зарѣ, началась безпримѣрная даже въ этой войнѣ атака. Нѣмцы рѣшили взять Изеръ во что бы то ни стало. Они пошли сплошными колон-

чами впередъ, прямо на бельгійцевъ, которые открыли по нимъ огонь изо всѣхъ жерлъ, какія имѣлись въ ихъ распоряженіи, прежде всего изъ митральевъ. Когда саранча, пересѣкая рѣку, обрушивается въ нее сотнями тысячъ, милліонами, слой на слой, пока не образуется мостъ, то этотъ процессъ какъ бы выходитъ уже за предѣлы біологіи, это механическій процессъ. Такъ и тутъ. Нѣмецкое движеніе впередъ подъ непрерывнымъ огнемъ, какъ оно представлялось изъ бельгійскихъ траншей, не имѣло въ себѣ ничего трагическаго, потому что въ немъ уже не было ничего человѣческаго. Каждый нѣмецкій солдатъ въ сѣромъ переживалъ это наступленіе по-своему, прощался мысленно съ близкими, молился тому, во что вѣрилъ, но всѣ вмѣстѣ они создавали безличную сѣрую массу, которая трупами своими пролагала путь чему-то тоже безличному. Митральезы работали, раскидывая смерть вѣеромъ, точно гигантскій горизонтальный маятникъ, описывающій смертоносную дугу и снимающій рядъ за рядомъ. Изъ первой линіи уцѣлѣвалъ десятокъ-другой, къ нему присоединялись тѣ, которыхъ маятникъ не успѣлъ коснуться во второмъ ряду, а на мѣсто павшихъ и по ихъ трупамъ шла новая, свѣжая сѣрая масса. Какъ ни методически работали митральезы—тра-та-та-та,—но онѣ не успѣвали попадать въ каждую живую частицу надвигавшейся колонны, и человѣческая масса продолжала приближаться къ рѣкѣ. И только когда она подошла уже совсѣмъ близко къ противному берегу, въ сознаніи Де-Беера вспыхнула мысль, что это люди, и что они пришли по трупамъ другихъ людей,—вспыхнула и погасла: оказавшись совсѣмъ близко, эти люди были непосредственными врагами, отъ которыхъ нужно было спасаться, истребляя ихъ.

Четыре дня оставался послѣ этого седьмой пѣхотный

на Изерѣ, и это было самое злое время во всей кампаніи. Полкъ стоялъ у Сентъ-Жоржа, небольшого поселенія на лѣвомъ берегу. Сейчасъ же за Изеромъ начинались траншеи, вырытыя нѣмцами подъ огнемъ. Враги стояли лицомъ къ лицу, отдѣленные лентой канала. Та секція первой роты, къ которой принадлежалъ Де-Бееръ, была расположена не дальше, какъ на метръ отъ воды. Съ обѣихъ сторонъ зорко слѣдили другъ за другомъ. Кто высовывалъ голову надъ парапетомъ, тотъ сейчасъ же падалъ на дно траншеи. Въ обоихъ лагеряхъ царило ожесточеніе. Нѣмцы держались зубами за свои позиціи, которыя они такъ дорого оплатили. Бельгійцы боялись утратить свои. Разъ удалось съ этой стороны подсмотрѣть, какъ упавшая въ нѣмецкую траншею граната на кучѣ песку и дыма подбросила на два-три метра вверхъ части траншейной утвари, солдатской одежды... Бельгійская траншея стала аплодировать.

Очень трудно было съ пищей: приходилось разъ въ сутки по вечерамъ посылать за нею, и никогда не было увѣренности, что посланный вернется. Еще хуже было съ водой. Изеръ протекалъ тутъ же, но въ немъ было много труповъ, человѣческихъ отбросовъ и крови. Выбора, однако, не было. Приходилось пить изъ канала. Траншея Де-Беера имѣла то преимущество, что можно было прямо черезъ парапетъ выбросить ведерко, привязавъ его къ штыку. Когда ведро поднималось вверхъ, въ него нерѣдко ударялась непріятельская пуля. Но нѣмцы, въ общемъ, сохраняли за собою репутацію плохихъ стрѣлковъ.

Становилось по ночамъ холодно, а одѣяла были у немногихъ. Однимъ изъ этихъ немногихъ былъ Экхаутъ, тотъ самый, котораго Де-Бееръ защищалъ на судѣ. Послѣ оправданія его перевели въ первую секцію,

чтобы онъ не сталкивался съ сержантомъ Ренкеномъ. Попавъ въ одну траншею съ Де-Беeромъ, фламандецъ крѣпко привязался къ своему защитнику. По ночамъ, когда спали, сидя, прикорнувъ въ боковыхъ ямахъ, въ тревожномъ ожиданіи нѣмецкой атаки черезъ каналъ, Экхаутъ всегда заботливо укрывалъ своего защитника половиной теплаго одѣяла.

Въ траншеѣ Де-Беера было уже много жертвъ. Первымъ палъ лейтенантъ: входя въ траншею съ бодрымъ насвистываніемъ, онъ былъ раненъ въ високъ осколкомъ гранаты. Въ тотъ же день другая граната разорвалась посрединѣ траншеи и убила 12 человѣкъ. Они лежали въ теченіе нѣсколькихъ часовъ тутъ же. Ночью ихъ вынесли и хоронили сейчасъ же за траншеей. Пользовались ямами, вырытыми непріятельскими снарядами, только приспособляли ихъ заступами для человѣческаго тѣла,—тѣми самыми заступами, которыми рыли траншеи. Эта работа была тягостна, жалко было погибшихъ. Но жалость къ раненымъ, скорбь по убитымъ, отвращеніе къ загаженной водѣ—всѣ чувства и ощущенія были придушены, потому что надъ всѣми ими господствовала напряженная воля къ самосохраненію. Такъ прожили 12 сутокъ на Изерѣ. На зарѣ послѣдняго дня Де-Беeръ, весь одеревѣнѣвшій въ сидячемъ положеніи, спалъ тяжелымъ и невѣрнымъ сномъ, завернутый въ одно одѣяло со своимъ другомъ-фламандцемъ. Вдругъ во снѣ онъ услышалъ знакомый тревожный звукъ шрапнели, — точно шумъ кареты на шоссе безъ резиновыхъ шинъ,—потомъ б-умъ, взрывъ въ воздухѣ,—и затѣмъ одно коротенькое мгновеніе — взззз,—это шрапнельныя пули... Еще мгновенье, и какос-то электрическое движеніе прошло вдоль его правой стороны. Де-Беeръ въ ужасѣ проснулся и оттолкнулся отъ чего-то руками. Справа отъ него подъ об-

щимъ одѣяломъ было неподвижное тѣло Экхаута: пуля вошла посрединѣ между глазъ, оставивъ небольшую аккуратную дырочку.

Къ вечеру этого дня седьмой пѣхотный былъ, наконецъ, смѣненъ и отправленъ на отдыхъ въ ближайшее село. Впереди рисовались двѣ-три недѣли безопасности, сна и горячей пищи. Но случилось иначе. Въ ту же ночь нѣмцы открыли страшное наступательное движеніе черезъ каналъ, перебрасывали мосты, выбили бельгійцевъ изъ траншей — все той же цѣною сплошного безразличнаго самоистребленія — и лавиной человѣческаго мяса продвинулись на западъ, вплоть до желѣзнодорожной линіи, которая идетъ черезъ Ньюпортъ и Рамскапель. Среди отброшенныхъ бельгійскихъ солдатъ наступило смятеніе, граничившее съ паникой. Необходимо было обновить передніе ряды. Но резервуаръ бельгійской арміи былъ все тотъ же. Снова былъ призванъ на самую горячую позицію „седьмой пѣхотный". Онъ успѣлъ только переночевать на своей новой стоянкѣ послѣ двѣнадцати дней непрерывной борьбы.

Что-то дрогнуло въ груди лувенскаго студента. Точно ли за нимъ обезпечено статистикой мѣсто среди тѣхъ, которые здоровыми и невредимыми возвращаются домой послѣ всѣхъ опасностей войны? Первый батальонъ окопался вдоль линіи желѣзной дороги на разстояніи километра отъ непріятельской позиціи. Де-Бееръ снова вырылъ себѣ защитныя ниши по своей „системѣ", которой онъ придавалъ большое значеніе. Снова началась траншейная жизнь, холодъ, грязь и постоянная опасность. На третій день де-Беера опять назначили защитникомъ. Судили трехъ нѣмцевъ и одного бельгійца и всѣхъ четверыхъ приговорили къ смерти. Когда двѣнадцать солдатъ дали залпъ, нѣмцы упали,

бельгіецъ остался. Офицеръ посмотрѣлъ на лица солдатъ, ничего не сказалъ и убилъ осужденнаго изъ револьвера.

На пятый день замѣчено было на нѣмецкой линіи зловѣщее оживленіе,—готовился новый натискъ. Первый батальонъ, понесшій большія потери и смертельно уставшій, былъ смѣненъ вторымъ. Де-Бееръ предвкушалъ продолжительный отдыхъ и опять горько ошибся. Бельгійская линія не выдержала натиска. У второго батальона не хватило къ тому же въ рѣшительную минуту патроновъ. Нѣмцы перешагнули черезъ желѣзную дорогу и взяли важную станцію Рамскапель. Первый батальонъ, не успѣвшій отмыться и обсушиться, сняли съ квартиръ и отправили въ атаку на Рамскапель. Злоба за всѣ испытанія и особенно за испорченный отдыхъ вылилась въ этой атакѣ, гдѣ обѣ стороны сражались съ одинаковымъ бѣшенствомъ.

Нѣмцы дрогнули по всей линіи. У самыхъ рельсовъ нѣсколько солдатъ перваго батальона, среди которыхъ выдѣлялся высокій и толстый студентъ медицины Камюсъ, нагнали группу убѣгавшихъ враговъ. Тѣ остановились, и молодой стройный нѣмецкій солдатъ, со свѣтлымъ пушкомъ на верхней губѣ, повернулъ противъ Камюса свой штыкъ. Студентъ медицины совсѣмъ позабылъ всѣ пріемы защиты штыкомъ, которымъ его обучали, и сталъ хватать за штыкъ правой пятерней, держа свою винтовку въ лѣвой рукѣ. Въ ту же минуту штыкъ вонзился ему въ ладонь и весь прошелъ насквозь. Камюсъ едва успѣлъ крикнуть визгливымъ воплемъ, какъ маленькій, коротконогій сапожникъ Іакобъ, тотъ, котораго легко ранило пулей подъ Лувеномъ, вонзилъ свой штыкъ въ животъ молодому нѣмцу. Юноша со стономъ упалъ, а ружье его осталось на штыкѣ въ рукѣ Камюса. Студентъ пронзительно кричалъ, сни-

мая потихоньку руку со штыка. Два другихъ нѣмца отбивались съ послѣднимъ ожесточеніемъ затравленныхъ. Одинъ изъ нихъ, схвативъ свою винтовку за стволъ, взмахнулъ ею, какъ дубиной, и совершенно свернулъ Іакобу нижнюю челюсть на сторону. Де-Бееръ бѣжалъ на помощь, но запоздалъ. Оба отставшихъ врага были уже заколоты.

Нѣмцы израсходовали слишкомъ много нервной энергіи въ своемъ безумномъ наступленіи на Изеръ и теперь стали отступать, очистивъ Рамскапель и линію желѣзной дороги. Къ этому времени произошло уже соединеніе лѣваго крыла французской арміи съ бельгійцами. Въ Рамскапель седьмой пѣхотный вступилъ вмѣстѣ съ французскимъ пѣхотнымъ полкомъ, и оба тамъ оставались весь день. Вечеромъ „седьмой" былъ отправленъ на окончательный отдыхъ въ Коксидъ. На пятый день его отвели въ Фюрнъ, меньше часу пути, гдѣ предстояло торжественное событіе: пожалованіе ордена полковому знамени. Седьмой пѣхотный, почистившійся и подтянувшійся, выстроился на площади. Де-Бееръ стоялъ далеко отъ знамени. Онъ видѣлъ крупную фигуру короля, но какъ ни напрягался, не могъ разслышать словъ его рѣчи. Король прикрѣпилъ къ знамени знакъ отличія, оркестръ игралъ гимны союзниковъ и Брабансону. Настроеніе въ городкѣ было праздничное. Изъ Фюрна седьмой пѣхотный съ полученнымъ отличіемъ вернулся на отдыхъ обратно въ Коксидъ. Но надъ полкомъ тяготѣлъ рокъ. Отдыхать пришлось и на этотъ разъ недолго. Уже на другой день приказъ: черезъ часъ выступать. Полкъ отправлялся въ Ньюпортъ. Предстояло рѣшительное дѣло: изгнаніе нѣмцевъ изъ Ломбардзиде. Военныя власти рѣшили, что для такого отчаяннаго предпріятія самымъ подходящимъ является седьмой пѣхотный, который

вчера только получилъ знакъ отличія. Но вышло иное. Изъ Ньюпорта пересѣкли Изеръ, потомъ маленькую рѣчку, параллельную каналу, и подъ прикрытіемъ ея отвѣснаго берега стали пробираться гуськомъ, у самой воды, въ направленіи Ломбардзиде. Пригибаясь какъ можно ниже и цѣпляясь за берегъ, чтобы не скатиться въ воду, прошли метровъ восемьсотъ. Подошли къ мостку, перекинутому черезъ рѣчку противъ Ломбардзиде, и тутъ выбрались изъ-подъ прикрытія для атаки. Но въ это время воздухъ сразу съ трехъ сторонъ наполнился знакомыми звуками. Вззз... вззз... Солдаты разсказывали потомъ, что были и разрывныя пули, потому что кромѣ вкрадчиваго вззз... они слышали еще клакъ-клакъ... Ясно: полкъ былъ окруженъ съ трехъ сторонъ. Наступилъ хаосъ. Первымъ палъ майоръ Н., палъ рыжій сержантъ Ренкенъ и много, много другихъ. Раздался крикъ: Sauve qui peut! и сталъ сигналомъ окончательной паники. Нѣмцы накинулись съ трехъ сторонъ,—седьмой пѣхотный оказался въ западнѣ. Sauve qui peut!—одни сдавались, другіе пробовали спастись бѣгствомъ. Большинство бросилось назадъ подъ прикрытіемъ берега, вдоль воды. Въ ихъ числѣ и Де-Бееръ. Но теперь уже некогда было подвигаться гуськомъ. Бѣгущіе наскакивали другъ на друга, срывались и падали въ воду. Сверху стрѣляли непрерывно—вззз... вззз... клакъ-клакъ... — можетъ быть, это и были удары пуль по водѣ. Де-Бееръ почувствовалъ, что бѣжать дальше низомъ берега значитъ неминуемо погибнуть. Въ два прыжка онъ оказался наверху, на открытомъ мѣстѣ, на шоссе и прямо подъ непріятельскими пулями побѣжалъ къ мостку. Кто-то набѣжалъ на него сзади, ткнулъ въ плечо, и Де-Бееръ съ размаху упалъ на шоссе. Одинъ ремень на его ранцѣ лопнулъ, очки описали въ воздухѣ дугу и разбились о

шоссе. Поднимаясь, де-Беерь сбросилъ со спины ранецъ и, не выпуская винтовки изъ рукъ, побѣжалъ дальше безъ очковъ. Всѣ предметы расплывались въ его близорукихъ глазахъ. Кто-то бѣжалъ ему наперерѣзъ. Вззз... вззз... — но „нѣмцы плохіе стрѣлки". Де-Беерь ни на секунду не терялъ изъ виду цѣли. Какъ хорошо онъ запомнилъ эти мгновенья! Вотъ онъ на мосту, на самомъ опасномъ мѣстѣ, на виду у нѣмцевъ. Святая статистика, выручай! Статистика выручила. Де-Беерь въ нѣсколько прыжковъ оказался по ту сторону рѣчки, и, не переводя духа, побѣжалъ къ Ньюпорту...

Въ этомъ злосчастномъ дѣлѣ седьмой пѣхотный потерялъ тысячу человѣкъ убитыми, утонувшими, ранеными, а главное—взятыми въ плѣнъ. Самочувствіе полка было подорвано въ корнѣ. „Кто насъ повелъ въ засаду?" Послѣ всѣхъ испытаній, подвиговъ, послѣ фюрнскаго торжества,—какое убійственное крушеніе! Остатки полка были отправлены на отдыхъ въ Паннъ. Тамъ полкъ реорганизовали и послѣ продолжительнаго отдыха размѣстили въ траншеяхъ подъ Рамскапелемъ. Стояла уже глубокая осень, шли непрерывные дожди, съ сѣвера надвигалось наводненіе. Седьмой пѣхотный провелъ въ рамскапельскихъ траншеяхъ пятнадцать дней. Де-Беерь оставался все время безъ очковъ, и міръ казался ему безформеннымъ. Къ счастью, полкъ ни разу за это время не приходилъ въ соприкосновеніе съ непріятелемъ. Потомъ отправились снова на отдыхъ въ Паннъ. Полковой врачъ отпустилъ де-Беера въ Калэ въ госпиталь, чтобы тамъ ему дали новые очки. Но вмѣсто этого лувенскаго студента признали слишкомъ близорукимъ для военной службы и отпустили на всѣ четыре стороны. Это было въ началѣ января...

Для Де-Беера началась новая жизнь. Онъ бродилъ безъ связей, почти въ лохмотьяхъ, всегда голодный,

уставъ надѣяться. Черезъ три недѣли онъ устроился гарсономъ въ одномъ изъ ресторановъ Калэ. А седьмой пѣхотный продолжаетъ дописывать свою исторію въ тѣхъ двухъ фландрскихъ департаментахъ, на которые распространяется власть засѣдающаго въ Гаврѣ бельгійскаго правительства...

Калэ, 16 февр. 1915.

По записной книжкѣ одного серба.

I.

Тодоръ Тодоровичъ родился въ деревнѣ Крушица въ Банатѣ, а жилъ въ Бѣлой Церкви съ ея смѣшаннымъ сербскимъ, нѣмецкимъ, венгерскимъ и румынскимъ населеніемъ. Онъ — плотникъ-строитель, имѣлъ вмѣстѣ съ отцомъ и двумя братьями два дома и большую мастерскую, а подъ городомъ у него, сверхъ того, было два іоха своего виноградника. Теперь все гнѣздо разорено. Одинъ братъ гдѣ-то въ Чикаго, другой на галиційскомъ фронтѣ, а самъ Тодоръ въ бывшемъ монастырѣ Сенъ-Сюльписъ, въ Парижѣ, дожидается своей участи. Могли ли они съ братьями думать когда-либо, что такъ внезапно раскидаетъ ихъ судьба? Тодоръ былъ старшимъ и самымъ авторитетнымъ въ семьѣ: ему шелъ 42-й годъ. Онъ зналъ свѣтъ и чужіе языки, служилъ солдатомъ въ Темешварѣ, прожилъ 6 лѣтъ въ Вѣнѣ, 2 года въ Берлинѣ, свободно говорилъ по-нѣмецки и немного по-венгерски, чешски и румынски. Въ Вѣнѣ Тодоръ учился въ технической школѣ, потомъ работалъ на заводахъ и женился на еврейкѣ изъ Славоніи. Языкомъ семьи былъ нѣмецкій, двѣ дѣвочки посѣщали нѣмецкую школу и совершенно не знали по-сербски. Только послѣ смерти тестя Тодоръ съ семьей переѣхалъ на родину.

Убійство Фердинанда испугало Бѣлую Церковь, а послѣдовавшія затѣмъ полицейскія преслѣдованія укрѣпили испугъ. Но чего ждать, — не знали. Населеніе Бѣлой Церкви и окружностей довольно богатое. Въ городѣ 20 т. жителей, до 30 — 40 окружныхъ селъ, промышляющихъ винодѣліемъ и земледѣліемъ. Политикой интересуются только небольшія кучки интеллигенціи, среди которыхъ имѣетъ своихъ приверженцевъ великосербская идея.

Это было 20 іюля 1914 г., въ воскресенье. Стоялъ прекрасный солнечный день. Тодоръ возвращался изъ своего виноградника, гдѣ уже начали наливаться ягоды и попался первый спѣлый персикъ, какъ на встрѣчу ему бѣжитъ Тома Миленковичъ и издали кричитъ въ ужасѣ: „Тошо, Тошо, война будетъ съ сербами“. Въ городѣ уже стоялъ адъ. Всѣ затворяютъ лавки, женщины плачутъ, дѣти бродятъ притихшія. Тодорова мать, чувствительная и пѣвучая женщина, бросается ему у воротъ на грудь и плачетъ: „Ты первый погибнешь, Тошо, чуетъ мое сердце“...

Мобилизація уже началась и пошла быстрымъ темпомъ. Въ городѣ происходили аресты сербовъ, которые были на подозрѣніи у венгерской полиціи по части великосербской идеи. Схватили молодого доктора Милитича, учителя Миту Джоржевича, богатаго купца Нанчина, священника,—все людей изъ сербской интеллигенціи. Арестованныхъ проводили по улицамъ со связанными руками, чтобы отправить на другой день въ Чегединъ.

Изъ нѣмцевъ и венгровъ многіе кричатъ: „Долой сербовъ, долой измѣнниковъ, они убили Франца-Фердинанда“. Знакомый Тодору нѣмецъ, подрядчикъ Іоаннъ Штиръ, неожиданно крикнулъ ему при встрѣчѣ: „Теперь твои сербы увидятъ... Въ 48 часовъ разоримъ ихъ гнѣздо“.

Къ вечеру разразилась великолѣпная гроза. Казалось, насталъ конецъ свѣта. Громъ, молнія, плачъ, бѣготня, дождь... Всюду мечутся люди, чтобы какъ-нибудь уладить свои дѣла передъ отправкой въ армію. Жены и дѣти арестованныхъ и мобилизованныхъ воютъ. Такъ закончился этотъ памятный день 20 іюля 1914 года.

Тодоръ привелъ домой четырехъ воловъ, которые были реквизированы венгерскими властями, и снарядился въ путь. Мать зарѣзала двухъ гусей и нѣсколько курицъ, а братъ Ранчо провожалъ его до вокзала. Жена чувствовала себя теперь совсѣмъ чужой въ этой семьѣ и на другой день уѣхала съ дѣвочками къ роднымъ въ Вѣну.

Въ вагонѣ было биткомъ набито народу, въ томъ числѣ нѣсколько выпившихъ нѣмцевъ и венгровъ, которые кричали сербамъ: „Теперь посмотримъ, кто вамъ милѣе — Сербія или Венгрія. Эліей ахабору, да здравствуеть война“, и прочее несвязное въ томъ же родѣ.

На утро пріѣхали въ Чегединъ. Станція заполнена венграми. Тѣ же крики и мадьярскія пѣсни. Тодоръ былъ совсѣмъ подавленъ и какъ сквозь сонъ глядѣлъ на все, что творится кругомъ. Изъ Чегедина поѣхали на Субботицу, затѣмъ на Боссавскій Бродъ. На всѣхъ станціяхъ войска, женскій плачъ, пѣсни, крики: „смерть сербамъ“. Разговариваютъ только по-нѣмецки и по-венгерски. Сербы притаились. Въ Боссанскомъ Бродѣ сплошь войска. Арестованные сербы вдоль стѣнъ со связанными руками подъ конвоемъ, и иные проходящіе издѣвались надъ ними.

Дальше ѣхали до Зеницы въ Босніи, по желѣзной дорогѣ, въ горахъ. Вездѣ тѣ же картины и то же настроеніе угара и полусна. Связанные по рукамъ заложники, плачъ, пѣсни... Эліей ахабору.

Въ вагонѣ Тодоръ вынулъ изъ сумки свѣжую записную книжку, которую купилъ въ Чегединѣ, и сталъ заносить въ нее все, что видѣлъ, прерывая записи риѳмованными строками. Небольшого роста, сухопарый, съ кривымъ носомъ и острыми глазами, Тодоръ представлялъ собою типъ человѣка, разъ навсегда выбитаго изъ внутренняго равновѣсія. Душевный фундаментъ у него чисто крестьянскій и хозяйскій; Тодоръ любитъ свой виноградникъ, домъ, почитаетъ всѣ праздники, крѣпко придерживается „славы" (день святого) и знаетъ на память чуть не всѣ святцы, любитъ церковную службу и самъ поетъ на клиросѣ отличнымъ тенoромъ. Но шесть лѣтъ Тодоръ провелъ въ Вѣнѣ на положеніи рабочаго и сразу вошелъ въ новую среду, въ новый кругъ понятій, точно въ воду окунулся. Въ первый же годъ онъ сталъ соціалистомъ, близко познакомился съ знаменитымъ оттакрингскимъ депутатомъ Шумайеромъ, пѣлъ въ рабочемъ хорѣ, посѣщалъ всѣ собранія и со второго года сталъ съ успѣхомъ выступать на нихъ. Женитьба на еврейкѣ-швеѣ была какъ бы закрѣпленіемъ разрыва съ духомъ и преданіями вскормившей его Крушицы. Берлинъ, гдѣ Тодоръ два года совершенствовался въ своемъ ремеслѣ маханика-строителя, казалось, навсегда поработилъ его своей техникой, своей культурой, своими рабочими организаціями. Только разъ за всѣ эти годы онъ попалъ на нѣсколько часовъ въ старую среду на праздничномъ собраніи вѣнскихъ сербовъ, въ Бадни Данъ (канунъ Рождества), ѣлъ „печено прася", пѣлъ старыя пѣсни и даже получилъ подъ конецъ вечера за пѣніе двадцать кронъ отъ сербскаго посланника.

На девятую Пасху вернулся Тодоръ въ Бѣлую Церковь, куда давно звали его на работу отецъ и братья. Въ первыя недѣли домашняя жизнь показалась ему

прѣсной и грубой, и онъ часто стѣснялся за родныхъ передъ своей вѣнкой-женой. Но періодъ приспособленія къ старому длился недолго. Тодоръ точно кожу мѣнялъ, входя въ прежнюю колею, раздражался на жену, которая медленно усваивала сербскую рѣчь, не пропускалъ ни одной „славы“ у родныхъ и исправно ходилъ по воскресеньямъ пѣть въ церковь. Взгляды онъ высказывалъ тѣ же, что и отецъ, консервативно-крестьянскіе, хотя и безъ полной увѣренности. Только когда ему приходилось вести нѣмецкій разговоръ, онъ вспоминалъ героическій періодъ своей жизни, воодушевлялся и заявлялъ себя, особенно послѣ нѣсколькихъ рюмокъ сливовицы, атеистомъ и соціалистомъ. Эта почти механическая трещина въ сознаніи, какъ и музыкально-поэтическія наклонности, не мѣшала Тодору быть въ высшей степени практическимъ человѣкомъ, неистощимо находчивымъ и не слишкомъ щепетильнымъ въ борьбѣ за существованіе...

На третій день пріѣхали въ Зеницы и тамъ остановились. Здѣсь церкви всѣ были заперты, сербскіе магазины заколочены, на всемъ была печать затаившейся тревоги. Въ Зеницахъ мобилизованные давали военную присягу, каждый на своемъ языкѣ. Тѣмъ, кто назывался сербомъ, полковой врачъ заявлялъ: „вы не сербы, а просто православные“. За свое знаніе языковъ Тодоръ былъ назначенъ въ санитарный отрядъ. Онъ присматривался и записывалъ въ книжку. Въ Зеницахъ Тодоръ получилъ письмо отъ своихъ: мать цѣловала его волосы и его слезы. На второй день Тодоръ отдалъ свое бѣлье для стирки старушкѣ-сербкѣ. Только ли этимъ ограничилось дѣло, неизвѣстно, да и не къ чему изслѣдовать. Фактъ, однако, таковъ, что Тодора заподозрили въ сербской пропагандѣ. Его арестовали и отправили въ жандармское управленіе. Тамъ онъ

провелъ ночь. На другой день его предали военному суду, который приговорилъ его къ мѣсяцу тюрьмы. Опять пошли переѣзды: сперва въ Сараево, потомъ въ Варешь. Вмѣстѣ съ Тодоромъ сидѣли въ тюрьмѣ сѣдой сербскій священникъ, молодой учитель и винноторговецъ. Къ нимъ не допускали никого. За время своего заключенія Тодоръ написалъ множество стиховъ и въ религіозно-смиренномъ и въ протестующе-освободительномъ духѣ. Онъ былъ выбитъ изъ равновѣсія болѣе, чѣмъ когда бы то ни было.

Черезъ два мѣсяца отправили на фронтъ, въ Тузлу Дольнюю. Военныя дѣйствія уже были въ полномъ разгарѣ. По дорогѣ встрѣчали множество раненыхъ. Санитарная организація оказалась, какъ и вездѣ почти, очень плохой, раненые голодали и загнивали. Тодоръ съ возрастающимъ страхомъ думалъ о будущемъ и съ благодарностью оглядывался на мѣсяцъ, проведенный въ тюрьмѣ.

Тодоръ и съ нимъ еще 32 серба, которые не называли себя сербами, направлялись въ 61-й пѣхотный полкъ, который находился уже въ дѣйствіи подъ Катарро, въ Черногоріи. Отъ Тузлы до Зворника шли пѣшкомъ, нѣсколько батальоновъ. Дни стояли хорошіе, солнечные, но въ походѣ погоду замѣчаютъ только, когда она плоха. Навстрѣчу попадались плѣнные и раненые. Тотъ проситъ папиросу, тотъ кусокъ хлѣба. Многіе не ѣли по нѣскольку дней.

Передвигались много и безъ смысла. 8-го октября отрядъ былъ задержанъ въ Рагузѣ. Тамъ видѣли издали французскій флотъ, который проходилъ мимо. Всѣ говорили, что французы съ англичанами произведутъ высадку на берегу, и слухъ о томъ распространился по прилегающимъ областямъ Далмаціи, вызывая повсюду неописуемую панику. Тодоръ вспомнилъ

слова матери и съ тоской думалъ объ англійскихъ и французскихъ пуляхъ. Однако судьба пощадила его.

Остановились въ Рисанѣ, до Катарро не дошли: отсюда всѣхъ повернули на Мостаръ. Оказалось, что 61-й полкъ былъ уже разбитъ черногорцами и остатки его направлены въ Мостаръ. Тамъ Тодоръ провелъ 17 дней.

Походная жизнь предстала передъ нимъ въ развернутомъ видѣ. Тодоръ, котораго ни на минуту не покидала мысль о предстоящихъ опасностяхъ, удивлялся, какъ это солдаты играютъ въ карты и выигрываютъ другъ у друга жалкіе гроши передъ тѣмъ, какъ идти въ огонь. Сидѣлъ онъ на ранцѣ и записывалъ уже во второй книжкѣ о силѣ человѣческихъ страстей: кто водку пьетъ, кто въ карты играетъ, кто съ женщиной таскается, а что готовитъ имъ завтра судьба? Эти мысли казались ему новыми, и онъ слагалъ изъ нихъ риторическіе стихи... Въ серединѣ третьей недѣли выступили.

Пришли въ Зворникъ, на Link Дринѣ, отдѣляющей Боснію отъ Сербіи. Тамъ было много плѣнныхъ сербскихъ солдатъ и офицеровъ, много женщинъ и дѣтей изъ оккупированныхъ мѣстъ. Тодоръ раздавалъ дѣтямъ куски сахару изъ кармана и вспомнилъ своихъ двухъ дѣвочекъ, уѣхавшихъ съ матерью въ Вѣну. По мѣрѣ приближенія къ мѣсту, гдѣ шли сраженія, сердце Тодорово все больше охватывалось тревогой и ужасомъ. Онъ не думалъ ни о Сербіи, ни объ Австріи, а только о томъ, что не хочетъ умирать. Въ полку было нѣсколько десятковъ чеховъ и юго-славянъ. Сербовъ начальство разсортировало промежъ нѣмцевъ и венгровъ. И эти группы, разобщенныя подозрительностью, были связаны бѣдствіями.

Тысячи и тысячи раненыхъ тянутся съ Дрины, въ снѣгу и грязи, босые, плачутъ. „Такими мы будемъ возвращаться завтра“, думаетъ Тодоръ, сидя у костра

на ранцѣ. И онъ пишетъ окоченѣвшей рукой у себя въ книжкѣ:

И то сада у двадесятой вѣку
У културы и великомъ теку.

(И это теперь, въ двадцатомъ вѣкѣ,
При великомъ развитіи культуры...)

Свои дневники Тодоръ все время пряталъ, какъ только могъ, чтобъ не попались, кому не слѣдуетъ, на глаза. Но, невзирая ни на какія условія, онъ записывалъ карандашомъ хоть нѣсколько словъ каждый день. Въ этомъ находила теперь исходъ безпокойная внутренняя энергія, никогда не покидавшая его.

Цѣлый день шли подъ дождемъ вдоль Дрины. Тодоръ съ солдатомъ-нѣмцемъ зашли на берегу въ крестьянскій домъ и попросились переночевать. Оказалась сербская семья на границѣ Босніи. Старуха, хозяйка дома, показывала слѣды шрапнелей на стѣнахъ дома. Она съ двумя внуками осталась тутъ, съ Ружей и Милорадомъ. На другой день Тодоръ убѣдился, что они съ нѣмцемъ остались вдвоемъ: весь отрядъ успѣлъ уже по понтоннымъ мостамъ перейти Дрину. Нѣмецъ торопился впередъ, но Тодоръ задерживалъ своего спутника; въ его головѣ уже шевелился какой-то планъ. По дорогѣ встрѣтили еще одного отставшаго солдата, который собирался, повидимому, возвратиться назадъ. Послѣ колебаній онъ пошелъ съ ними.

Было воскресенье, но въ немъ не было ничего праздничнаго. Навстрѣчу все время попадались раненые. Вотъ и мостъ. Первый разъ въ жизни нога Тодора вступила на почву Сербіи. Онъ остановился и сталъ глядѣть на разбухшую сумрачную рѣку. „Дрина, Дрина, сколько поглотила ты,—писалъ онъ въ дневникѣ,—жертвъ, прежде чѣмъ прошли черезъ тебя“. Вдругъ

спереди стали надвигаться звуки пѣсни: подъ конвоемъ венгровъ пѣли плѣнные сербы. Было грязно и холодно.

На разстояніи километра отъ границы встрѣтили возницу съ большой бочкой, завязшаго въ грязи. Старикъ-боснякъ, весь обросшій волосами, остановилъ солдатъ: братцы, не можете ли помочь. Оказалось, везетъ вино для нѣмецкихъ офицеровъ. Попробовали вытащить, но телѣга увязла крѣпко. Одинъ изъ солдатъ предложилъ облегчить бочку. Нашли въ ранцѣ буравъ, просверлили дно и наполнили виномъ четыре бутылки. Двое сторожили, двое пили. Наполнили снова бутылки. Возница все время молилъ св. Джорджія и св. Джордженицу простить за то, что пьетъ казенное вино. Всѣ вмѣстѣ позавтракали, выпили еще и снова наполнили бутылки. Возъ сталъ значительно легче и его благополучно вытащили, наконецъ, изъ грязи.

Доставать пищу становилось не легко. Проходившія раньше войска все забрали и растащили. Порядокъ на этотъ счетъ былъ обычный. Передъ приближающимся войскомъ населеніе почти всегда разбѣгалось. А когда войско проходило и жители возвращались, все оказывалось опустошеннымъ. Солдаты убивали всѣхъ животныхъ и уносили мясо съ собой. Тащили вообще все, что попадалось на глаза. Сербскіе крестьяне не разъ просили Тодора написать жалобу на нѣмецкомъ языкѣ, чтобы подать ее начальству. Въ Пецекѣ Тодоръ засталъ догоравшій магазинъ братьевъ Стречковичъ. На улицѣ валялись мѣшки муки, крупы, рису, и всѣ брали, сколько хотѣли или сколько могли унести.

По дорогѣ непрерывно попадались навстрѣчу телѣги съ женщинами и дѣтьми. Многіе шли по грязи пѣшкомъ. Среди нихъ Тодоръ встрѣтилъ десятилѣтняго мальчика, который несъ на себѣ брата годовъ трехъ-четырехъ; мать ихъ затерялась, и они плачутъ и зо-

вутъ ее вотъ уже второй день. Тодоръ далъ имъ по куску сахару и вытеръ слезу. Около дороги лежать убитыя лошади и отравляютъ воздухъ зловоніемъ разлагающихся труповъ. Снова толпы бѣженцевъ и шествіе раненыхъ. Санитары несли иныхъ тяжело раненыхъ на плечахъ десятки верстъ...

Въ Пецекѣ офицеръ съ восемью солдатами барабаннымъ боемъ собираетъ толпу и выкликаетъ, что никто не смѣетъ носить болѣе сербскую шапку—„шайкачу", потому что австрійскіе солдаты могутъ по шапкѣ принять за комитаджія и стрѣлять. Ружья нужно немедленно выдавать австрійскимъ властямъ. „Вы больше не сербы, а мадьяры".

Утромъ привели плѣнныхъ. Тодоръ пошелъ посмотрѣть ихъ. Только открылъ дверь казармы, какъ одинъ изъ нихъ пристально уставился на него: „Тодоръ, ты ли?" Это былъ Никола Васильевичъ изъ Лозовика, гдѣ Тодорова сестра замужемъ за сербомъ. Познакомился Тодоръ съ Николаемъ въ Берлинѣ, гдѣ оба они два года работали по вечерамъ въ школѣ техническаго рисованія. „Думалъ ли ты, когда мы жили въ Берлинѣ, что встрѣтимся такъ: ты—какъ плѣнникъ, я—какъ австрійскій солдатъ". Покачали головами, пожали другъ другу руки и разошлись. Это было 20 ноября, ровно черезъ пять мѣсяцевъ послѣ объявленія мобилизаціи. Стояли холодные дожди, и въ оккупированной области царили голодъ, смерть и разрушеніе.

II.

Когда переходили сербскую границу, всѣ, которыхъ встрѣчали, особенно раненые офицеры, говорили, что служба будетъ въ Сербіи совсѣмъ легкая, главнымъ образомъ административная, потому что вся страна

де уже „въ нашихъ рукахъ". Такъ что сперва, отставши отъ своего полка, Тодоръ думалъ, что воевать уже не придется, но скоро понялъ, что это не такъ.

Два товарища, съ которыми онъ шелъ, были нѣмцы. Связь ихъ поддерживалась взаимной заинтересованностью. Для Тодора нѣмцы были прикрытіемъ на случай подозрѣнія со стороны австрійскихъ властей, а для нѣмцевъ Тодоръ былъ посредникомъ въ сношеніяхъ съ сербскимъ населеніемъ. Жили, какъ и чѣмъ придется. Товарищи всегда обращались къ Тодору, чтобы онъ добылъ того-другого. Сначала онъ дѣлился съ ними тѣмъ, что доставалъ, потомъ сталъ отказывать. Отношенія испортились, и нѣмцы черезъ нѣсколько дней отстали отъ него. Къ этому времени въ головѣ у Тодора совершенно созрѣла рѣшимость во что бы то ни стало избавиться отъ войны. Никакого австрійскаго патріотизма у него за душой не было, но не было и сербскаго. „Ихъ бинъ эйнъ фрэйзиннигеръ манъ", говоритъ онъ въ поясненіе.

Первымъ дѣломъ нужно было избавиться отъ ружья и военной формы. Но когда онъ обращался за этимъ въ нѣсколькихъ деревняхъ къ сербскимъ крестьянамъ, тѣ съ испугомъ отшатывались отъ него, боясь австрійскихъ репрессій. Наконецъ, въ одномъ селѣ онъ нашелъ крестьянскую семью, которая приняла его съ довѣріемъ. Хозяинъ дома чича Лука (дядя Лука), сухощавый старикъ, съ бритымъ подбородкомъ и запавшими щеками, молча кивнулъ головой, когда выслушалъ его разсказъ. Пожали клятвенно другъ другу руки: „за вѣру—за вѣру". Чича Лука повелъ Тодора въ хлѣвъ, вывелъ оттуда воловъ и указалъ мѣсто, гдѣ рыть яму. Туда сложили ружье, ранецъ, солдатскую шинель, шапку, куртку и штаны, тщательно завернувъ все, чтобы можно было впослѣдствіи воспользоваться,

потомъ засыпали, покрыли соломой и снова поставили воловъ. Это было въ ноябрѣ.

Тодоръ прожилъ у чичи Луки и бабки Ефросимы шесть недѣль. Два сына изъ этой семьи находились на фронтѣ, младшій, Кристивое, раненый въ ногу, постепенно оправлялся въ семьѣ, и Тодоръ, обрядившись въ крестьянское платье, сталъ замѣнять старику работника: помогалъ въ полевыхъ работахъ, убиралъ во дворѣ, смотрѣлъ за скотомъ. Онъ надѣлъ на рукавъ бѣлую повязку и говорилъ всѣмъ, кто спрашивалъ, что онъ сербскій крестьянинъ съ Дрины. Жилъ онъ, особенно первыя недѣли, въ постоянной и острой тревогѣ. Однажды явился въ домъ къ Лукѣ австрійскій патруль, и сержантъ сталъ допрашивать, почему Тодоръ не на войнѣ, Онъ отвѣтилъ, что у него грыжа. На томъ и закончилось...

На исходѣ мѣсяца обратилась къ Тодору сосѣдка, у которой австрійскія войска забрали десять возовъ сѣна, ничего не заплативши, и стала просить, чтобы пошелъ вмѣстѣ съ ней къ начальнику требовать денегъ, обѣщая за помощь хорошую плату. Посовѣтовавшись съ чичей, Тодоръ надѣлъ на руку свою бѣлую повязку, что означало, что онъ сербскій крестьянинъ изъ оккупированной области, захватилъ для продажи четырехъ хозяйскихъ воловъ и пошелъ съ женщиной въ Валіево. Когда Тодоръ вошелъ въ офицерскую комнату, тамъ было четыре человѣка. Тодоръ почтительно поклонился, какъ можно ниже, и слышалъ, какъ одинъ изъ офицеровъ сказалъ по-нѣмецки: „вотъ интеллигентный крестьянинъ“. Капитанъ сталъ спрашивать, гдѣ находятся ближайшіе отряды сербской арміи, но на это Тодоръ по чистой совѣсти ничего не могъ сообщить ему. Разговоръ шелъ по-сербски.—„А кого хотѣлъ бы ты имѣть королемъ: Петра или Франца-

Іосифа?“ Тодоръ снова низко поклонился и политично отвѣтилъ: „Мы—сербы, и хотѣли бы, конечно, остаться сербами, но мы видимъ, что и вы хорошіе люди, поэтому лучше всего, если бы былъ миръ между народами“.—„Ловкая бестія,—сказалъ по-нѣмецки лейтенантъ.—А почему ты не въ арміи?“—Тодоръ имъ сказалъ насчетъ грыжи.—„Ну, у насъ бы на это не посмотрѣли“, замѣтилъ капитанъ. За сѣно офицеры заплатили 40 кронъ и тутъ же откупили четырехъ воловъ, принадлежавшихъ чичѣ Лукѣ. Оцѣнили ихъ въ тысячу динаровъ, а заплатили за нихъ 500 кронъ, объяснивъ, что австрійская крона отнынѣ равняется двумъ сербскимъ динарамъ.

Тодоръ былъ очень доволенъ успѣхомъ, получилъ 10 кронъ съ сосѣдки, выпилъ вина и собирался домой, какъ вдругъ кто-то схватилъ его за рукавъ:—„Ты что тутъ дѣлаешь?“—Передъ нимъ въ кавалерійской формѣ стоялъ жестяникъ Карлъ Штюрмеръ изъ Бѣлой Церкви. Они съ дѣтства знали другъ друга.—„Почему ты въ такомъ платьѣ?“. Дома Тодоръ одѣвался хорошо, и поэтому Карлъ сразу заподозрѣлъ, что тутъ дѣло не чисто. О томъ, что землякъ его былъ мобилизованъ, онъ, однако, не зналъ. У Тодора подкосились ноги. Однако онъ нашелся: „Я просто здѣсь съ обозомъ. Мы веземъ съ отцомъ амуницію“.—А бѣлая повязка?—„Это я такъ, пошутилъ“.—Тодоръ сорвалъ повязку, бросилъ ее на землю и для вѣрности растопталъ ногой. Въ концѣ-концовъ Карлъ говоритъ: „Ну, ладно, пойдемъ выпьемъ чего-нибудь“. Зашли въ трактиръ, выпили.—„А все-таки ты врешь“, началъ опять Карлъ. Выпили еще и еще. Тогда Тодоръ предлагаетъ: „Хочешь, я тебѣ достану такой сливовицы, какой ты еще не пилъ“. На это Карлъ пошелъ сразу и далъ впередъ двѣ кроны. Условились насчетъ свиданія на дру-

гой день, но кавалеристъ тщетно дожидался своего земляка.

Кристивое тѣмъ временемъ оправился и работалъ вмѣстѣ съ Тодоромъ.

Это былъ рослый, добродушный мужикъ, наслаждавшійся безопасностью подъ домашней кровлей. Только наслажденіе длилось недолго. Звуки пушечной стрѣльбы стали внезапно приближаться. Кристивое заволновался и забѣгалъ, какъ помѣшанный. Вдвоемъ съ Тодоромъ пошли они на сосѣдній холмъ смотрѣть, что такое творится. Тамъ уже собралось много женщинъ и дѣтей. Бой шелъ подъ Валіевымъ. Вдругъ тамъ загорѣлся отъ сербской шрапнели магазинъ съ амуниціей. Невообразимый грохотъ обрушился на всѣ окрестности: ядра, шрапнель, ружейные патроны,—громыхало и трещало разными голосами. Въ то же время изъза горы съ трескомъ разрываются сербскія шрапнели надъ отступающими австрійцами. Это было въ день св. Олимпія. Небо, казалось, готово лопнуть отъ жары и грохота. Австрійцы бросаютъ свои повозки и массами отступаютъ въ эту сторону. „Дрожитъ вся земля, дрожитъ старый сербскій Медвѣникъ отъ выстрѣловъ, и старый Илья Бирчанинъ, герой битвъ противъ турецкаго нашествія, похороненный въ Валіевѣ, въ гробу своемъ поворачивается"... Это Тодоръ вечеромъ слагалъ такіе стихи.

Кристивое съ сосѣдомъ соблазнились военными повозками, застрявшими въ грязи вдоль Валіевской дороги, и рѣшили поживиться пока-что хоть колесами съ нихъ. „Жадность человѣческая сильнѣе даже страха смерти", нравоучительно писалъ позже Тодоръ у себя въ книжкѣ. Они вышли втроемъ на дорогу, но едва сдѣлали сотню шаговъ, какъ навстрѣчу имъ австрійская колонна. Всѣ трое пустились бѣжать въ

разныя стороны. Сосѣдъ былъ сейчасъ же остановленъ и взятъ австрійцами. Кристивое исчезъ куда-то. Тодоръ пошелъ прямо навстрѣчу недругамъ. „Гальтъ, ступай сюда"... Тодоръ приблизился съ низкимъ поклономъ: „Добаръ данъ, господине".—„Куда идешь?"— „Собрать дровъ для топки".—„Какъ зовутъ? Гдѣ живешь? Куда ведетъ дорога? Какъ называется рѣка? Можно ли пройти черезъ нее?",—окружили его солдаты. „Посмотрите,—сказалъ одинъ изъ нихъ по-нѣмецки,—какіе у него хорошіе австрійскіе башмаки"...— „Гдѣ бродъ черезъ рѣку?"—продолжалъ офицеръ, пропуская мимо ушей замѣчаніе солдата.—„Извольте, господинъ, я васъ провожу". Проводилъ, указалъ дорогу дальше.—„Я свободенъ, господинъ?". Офицеръ отвѣтилъ машинально: „Да". А когда Тодоръ, быстро повернувъ, сталъ удаляться, молодой офицеръ спохватился, но ему было, очевидно, неловко мѣнять слово. Такъ Тодоръ снова спасся. Всѣхъ здоровыхъ мужчинъ австрійцы забирали съ собой.

Когда Тодоръ вернулся домой, на него набросились съ вопросами Савка, жена Кристивое, и бабка Ефросима. Никто не зналъ, куда дѣвался Кристивое. Пустились на поиски, спрашивали у встрѣчныхъ, у сосѣдей, но не нашли нигдѣ. Такъ и исчезъ человѣкъ изъ-за колеса, а дома оставилъ жену и пять душъ дѣтей. Лишь шесть мѣсяцевъ спустя Тодоръ изъ одной сербской газеты въ Нишѣ узналъ, что Кристивое находится, въ качествѣ военноплѣннаго, въ Австріи...

Послѣ того, какъ прошли австрійцы, Тодоръ не ложился всю ночь. Онъ до 11 часовъ ходилъ около дома и по комнатѣ, весь насторожившись, затѣмъ разбудилъ чичу Луку, и оба дежурили, чтобы въ случаѣ опасности во время скрыться гдѣ-нибудь въ лѣсу отъ австрійцевъ. Только подъ утро Тодоръ заснулъ,

На другой день спозаранку управились по хозяйству, накормили скотъ и вышли за ограду узнать, что творится кругомъ. Едва ступили на дорогу, какъ увидѣли бѣгущихъ черезъ рѣчку Буковицу австрійскихъ солдатъ. Надъ ними свистѣли пули. Одинъ изъ австрійцевъ упалъ, другіе скрылись. А черезъ нѣсколько минутъ къ дому чичи Луки подошли два молодыхъ сербскихъ солдата. „Добаръ данъ, узнаете?“—„Какъ не узнать дорогихъ гостей“. — „Нѣтъ ли у васъ въ домѣ швабовъ?“—„Нѣтъ“. Чича Лука угостилъ солдатъ сливовицей и сталъ разспрашивать, какъ это случилось, что швабы бѣгутъ. Солдаты разсказали, что была большая битва подъ Аранжеловацемъ и что австрійцы разбиты по всему фронту. Всѣ въ семьѣ радовались и въ то же время плакали объ исчезнувшемъ невѣдомо куда Кристивое.

Пришелъ второй патруль изъ пяти сербскихъ солдатъ. Тодоръ на свой счетъ угостилъ ихъ ракіей. Солдаты закусывали саломъ и сыромъ и разсказывали, что Валіево полно убитыми, ранеными и плѣнными австрійцами. Уходя, солдаты хотѣли купить на дорогу индюковъ. Бабка Ефросима запросила за пару 10 динаровъ. Хоть и разсчетливъ былъ Тодоръ на каждую стотинку, но тутъ на радостяхъ предложилъ отъ себя два динара. Всѣ чувствовали себя теперь въ полной безопасности. Тодоръ немедленно откопалъ свое солдатское снаряженіе. Ружье подарилъ чичѣ Лукѣ, а остальныя вещи роздалъ, кому что. Всякому хотѣлось имѣть что-нибудь австрійское. Тодоръ располагалъ оставаться до конца войны у чичи Луки. Но вышли неожиданныя осложненія изъ-за вынутаго австрійскаго платья.

Въ одинъ прекрасный день Тодоръ возвращался съ вязанкой дровъ къ дому и слышитъ голосъ дѣвочки

Станки: „Тодоре, тебя ищутъ“. Передъ домомъ 10 сербскихъ солдатъ подъ командой капрала. „Стой!“ — капралъ направляетъ на него ружье со штыкомъ: „Бросай дрова, смерть тебѣ, швабъ“.—„Что ты, — кричитъ ему Тодоръ, охваченный смертнымъ страхомъ, — я такой же сербъ, какъ и ты, а не швабъ“. И онъ клянется и крестится. — „Какъ же тебя сюда занесло?“ — Тодоръ сказалъ. — „Однако ты сейчасъ же пойдешь съ нами въ Валіево къ начальству“. Возражать не приходилось. Солдаты забрали въ домѣ всѣ его австрійскія вещи, а сверхъ того пальто, куртку, одѣяло и подѣлили между собой.

Когда Тодора уводили, вся семья плакала. Самого чичи Луки не было дома, онъ вышелъ въ поле со скотомъ. Ночь пришлось всю провести подъ открытымъ небомъ. Было холодно, а Тодоръ оставался въ одномъ пиджакѣ. Развелъ костеръ, поддерживалъ огонь цѣлую ночь и записывалъ жалобы на свою судьбу, подписавшись: Тодоръ Бѣдный. Утромъ капралъ повелъ его къ маіору 8-го полка, Милану Димитріевичу.

Майоръ, пожилой, но крѣпкій мужчина съ просѣдью, разспросилъ Тодора, откуда онъ, справился по штабной картѣ и еще по какой-то книгѣ. Тодоръ разсказалъ все, какъ было, и про то, какъ обошелся съ нимъ капралъ. Майоръ позвалъ капрала къ себѣ, спросилъ, дѣйствительно ли такъ происходило дѣло, и, убѣдившись, что все вѣрно, приказалъ капралу лечь на полъ, взялъ свою трость и спокойно отсчиталъ ею 15 ударовъ. Потомъ отправилъ Тодора при письмѣ въ больницу въ качествѣ санитара.

Въ Валіевѣ въ это время свирѣпствовалъ тифъ. Умирало ежедневно до 200—300 человѣкъ. Всѣ казармы города, школы, судебныя зданія были превращены въ больницы. Въ одномъ только госпиталѣ, куда попалъ

Тодоръ, въ казармѣ 5-го полка, было не меньше тысячи больныхъ, главнымъ образомъ тифозныхъ. Заражались одинъ за другимъ и сами доктора, фельдшера и санитары. Изнемогавшій отъ усталости врачъ ухватился обѣими руками за Тодора, который могъ объясняться съ больными на пяти языкахъ. А въ госпиталѣ были плѣнные венгры, чехи, румыны. Черезъ нѣсколько дней докторъ свалился. Его замѣнилъ австрійскій врачъ, военноплѣнный. Онъ провелъ въ этомъ аду всего одинъ день и въ свою очередь заразился тифомъ. Въ госпиталѣ было холодно, грязно и сыро. Умирало много народу, свозили умершихъ на телѣгахъ по 10—15 человѣкъ, точно дрова, и хоронили за городомъ въ общей могилѣ.

Несмотря на холодъ, въ казармѣ развелись въ невѣроятномъ количествѣ вши, которыя вообще были однимъ изъ главныхъ бичей войны на Балканскомъ полуостровѣ. По госпиталю онѣ ползали, какъ истинные хозяева положенія, и переносили заразу отъ одного къ другому. Больные вели съ ними непрерывную борьбу, одинъ видъ которой могъ бы отбить охоту къ пищѣ и къ самой жизни.

Въ длинномъ коридорѣ тѣсно стояли параши. Когда человѣкъ входилъ въ этотъ коридоръ, онъ видѣлъ непрерывный рядъ лоханей, вокругъ которыхъ, прижавшись къ стѣнѣ, толпились и корчились больные. Нѣкоторые падали на колѣни или лежали на полу въ безпамятствѣ, покрытые отбросами, другіе бродили, какъ лунатики или безумцы, скользя руками по стѣнамъ коридора. Иные пытались въ горячечномъ припадкѣ выброситься изъ окна, и санитарамъ приходилось ихъ удерживать за платье.

Наступило Рождество. Тодоръ, едва державшійся на ногахъ, хотѣлъ во что бы то ни стало навѣстить чичу

Луку. На Божичъ Данъ онъ отправился туда пѣшкомъ, поужиналъ съ ними, переночевалъ, на другой день почувствовалъ себя совсѣмъ слабымъ, едва-едва добрался до госпиталя и замертво свалился. Лежалъ онъ 15 дней почти сплошь въ забытьѣ. Когда новый докторъ Ивковичъ держалъ его за пульсъ, Тодоръ ловилъ его руки и молилъ: „Помогите мнѣ, докторъ, спасите меня, я сербъ, я пишу стихи, я хочу жить во что бы то ни стало“... Докторъ успокаивалъ его нѣсколькими словами и шелъ дальше. Ухаживалъ за Тодоромъ санитаръ Люба Златичъ, добродушный молодой торговецъ изъ Ужицы. Онъ искренно привязался къ больному, который давалъ ему читать свой дневникъ. Люба обкладывалъ Тодора снѣгомъ и льдомъ и утѣшалъ его цитатами изъ его собственныхъ записей и стиховъ.

Девятаго января Тодоръ сразу почувствовалъ себя лучше и первымъ дѣломъ хотѣлъ взяться за свой дневникъ, но отъ слабости рука не могла еще водить карандашомъ. Поглядѣвшись въ зеркало, которое принесъ ему, по его просьбѣ, Люба, онъ испугался того, что увидѣлъ тамъ: кости да кожа.

О, како міе лице жуто,
А чело постало блѣдуняво круто.
Очи изгубиле пола свого стаіа.
О тифуса боле и отъ уздисаіа...

Такъ писалъ Тодоръ 10 января. Онъ проникся къ себѣ большой нѣжностью и плакалъ въ постели по дому и семьѣ:

Какъ бы био птица, да раширимъ крыла,
На текъ да се винемъ догогъ дома мила.
Да поглядамъ кучіо и да видимъ жену,
Како горько дѣли горьку судьбу нену.
Кучіо моя, кучіо. Дома лѣпи, дома,
Нигдѣ нема лѣпше...

И подъ этими строками онъ подписывалъ: Тодоръ Бѣдный. Его почитатель Люба не могъ уже познакомиться съ этими стихами: 10-го онъ лежалъ въ тифозной горячкѣ, а черезъ недѣлю умеръ.

Сербія была въ это время уже совершенно очищена отъ австрійскихъ войскъ. Между тѣмъ въ госпиталь все время продолжали прибывать австрійцы, больные и раненые. Когда заболѣлъ докторъ Ивковичъ, въ больницѣ не осталось врача. Лѣчили только санитары. Въ концѣ февраля Тодоръ оправился совсѣмъ и снова занялся уходомъ за больными—въ теченіе нѣсколькихъ недѣль.

30-го марта ему удалось выѣхать изъ Валіева въ Нишъ. Онъ поступилъ, какъ техникъ, на постройку желѣзной дороги изъ Ниша въ Княжевацъ. Нишъ представлялъ собою военный муравейникъ. Жизнь била ключомъ, и почти всѣ казались богаче, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Городъ кишѣлъ плѣнными. Приписанные къ какой-либо казармѣ, они свободно гуляли по улицамъ города. Всюду слышались австро-венгерскіе языки и нарѣчія. Только нѣсколько сотъ плѣнныхъ офицеровъ содержались въ казармѣ подъ охраной.

5-го апрѣля Тодоръ выѣхалъ на желѣзнодорожныя работы въ село Нищевацъ. Сюда было пригнано для работы множество плѣнниковъ всѣхъ національностей. Начали съ того, что выдали имъ чистое бѣлье. Однако вши и тутъ были главнымъ врагомъ, и борьба съ ними отнимала много времени. Желѣзная дорога проводилась вдоль рѣки Тимокъ, горами, которыя изобилуютъ змѣями. Эта мѣстность славится лучшими солдатами (тимокская дивизія) и красивыми дѣвушками, стройными, какъ цвѣты. Солдаты и плѣнные провожали тимочанокъ жадными глазами, а онѣ съ ужасомъ глядѣли на этихъ людей, покрытыхъ грязью и вшами.

Въ разговорахъ съ плѣнными нѣмцами, особенно рабочими, Тодоръ заявлялъ себя соціалистомъ и свободомыслящимъ: нѣмецкая рѣчь какъ бы пробуждала въ немъ ту городскую культуру, которую онъ усвоилъ себѣ во время восьмилѣтняго пребыванія въ Вѣнѣ и Берлинѣ. Но это нисколько не мѣшало ему сохранять бытовую вѣрность сербскимъ обрядамъ и вѣрованіямъ. 29-го апрѣля, въ день своего святого, Тодоръ купилъ въ селѣ свѣчку, ягненка, калачъ и пригласилъ къ себѣ священника, который пришелъ къ сербу изъ Баната съ полной готовностью, прочиталъ молитву, разрѣзалъ калачъ, выпилъ сливовицы и поздравилъ со „славой". Были гости: сербы и чехи изъ Моравіи и изъ Праги. Настроеніе за столомъ стояло приподнятое, всѣ считали, что война кончилась и никакихъ опасностей больше не предстоитъ.

Въ такомъ настроеніи провели весну и лѣто.. Желѣзная дорога среди огромныхъ трудностей подвигалась впередъ. Работа чередовалась съ праздниками. 26 іюня, въ день святого Иліи, въ Нишевацѣ былъ храмовой праздникъ. Народъ сходился отовсюду, изъ 15—20 деревень, на церковную „славу": старики и молодые, дѣвушки въ національныхъ костюмахъ и дѣти. Священникъ—протоіерей изъ Дервента, прибывшій съ женой и четырьмя черками (дочерьми), руководилъ торжествомъ.

Послѣ службы происходилъ въ церковной оградѣ обѣдъ. День былъ жаркій, солнечный. Мужчины нарѣзали вѣтвей и укрѣпили ихъ надъ длиннымъ обѣденнымъ столомъ, чтобы защититься отъ солнца. Во время обѣда цыгане играли на фруляхъ и на гейде. Прота произнесъ передъ ѣдою патріотическую рѣчь, которую закончилъ тостомъ за короля Петра. Всѣ запѣли національный сербскій гимнъ, а дѣвушки водили хороводы.

Сидѣли за столомъ чинно, уважительно, въ зрѣло обдуманномъ порядкѣ. Во главѣ стола—самъ прота Вуле, справа отъ него—молодой попъ Душанъ, потомъ подпоручикъ Богосавъ изъ крестьянъ, потомъ—Тодоръ, затѣмъ — механикъ-чехъ, а дальше барышни, черки проты. Слѣва отъ него—Іоца Павловичъ, чиновникъ, потомъ податной чиновникъ, потомъ экономъ Мильна Поповичъ, потомъ мѣстный гимназистъ Триша. Ѣли сначала „пилечу чорбу" (куриный супъ), затѣмъ—печено прася. Вино пили бѣлое и черное. Потомъ подали другое „прася" и третье, и четвертое, при этомъ прота шутилъ насчетъ великой страды. Молодежь плясала, играла музыка. Дѣвушки были одна лучше другой. „Ѣсть трудно было,—записывалъ Тодоръ,—только и смотрѣлъ бы на красавицъ... А дукаты во время танцевъ звенятъ на высокихъ грудяхъ у нихъ слаще всякой музыки".

Послѣ второго поросенка прота провелъ рукой по бородѣ и говоритъ: „Ну, Тодоре, теперь спой намъ какую-нибудь пѣсню изъ Баната". И Тодоръ не ударилъ лицомъ въ грязь. За нимъ запѣли другіе. Чехи пѣли „Гдѣ домувъ муй". Такъ за виномъ оставались до 6 часовъ вечера. Тутъ прота опять произнесъ рѣчь: побѣда должна быть за нами, потому что съ нами мать-Россія, цивилизованная Англія и культурная Францiя, словомъ, сказалъ то, что можно услышать и прочитать не только въ сербскомъ захолустьѣ.

Осенью прибыли сюда на работы русскіе моряки со своими инженерами и врачами. Работали на линіи и днемъ и ночью. Изъ министерства каждые два—три дня пріѣзжала ревизія. Послѣ 6—8 дней работы русскіе исчезли такъ же внезапно, какъ появились. Тодоръ записалъ въ свою книжку приглашеніе своего новаго друга Антона пріѣхать къ нему послѣ войны

въ гости въ Херсонскую губ., въ Ананьевскій уѣздъ. До окончанія дороги осталось сдѣлать нѣсколько мостовъ, какъ вдругъ пришелъ приказъ оставить работы и со всѣми вещами, съ инструментами и повозками отправляться въ Дервентъ, а оттуда въ Нишъ. Шествіе растянулось на десятки километровъ. Это было 4 октября. Болгарское вмѣшательство уже рѣшило судьбу Сербіи. Тодоръ писалъ обличительныя стихотворенія „Бугарскому вратоломнику—крволоку Фердинаду Кобурска“ и снова съ замираніемъ сердца думалъ о завтрашнемъ днѣ...

III.

Стоялъ ноябрь, когда Тодоръ со своими людьми прибылъ въ Нишъ. Этотъ разъ городъ выглядѣлъ совсѣмъ иначе, чѣмъ весной. Шли непрерывные дожди, было холодно и сыро. Всѣ готовились къ выѣзду. Куда?.. Сновали автомобили, каміоны, нагруженныя телѣги, верховые, но не весело, какъ раньше, а испугано и безтолково. Населеніе находилось въ чрезвычайной тревогѣ, не зная, что готовитъ завтрашній день. Мальчишки, продававшіе на улицахъ мокрыя отъ дождя газеты, кричали о какихъ-то побѣдахъ.

Изъ Ниша отправились на Прокупле и прибыли на второй день. Это было начало великаго исхода, который длился четыре мѣсяца — по крайней мѣрѣ, для тѣхъ, которые не погибли въ пути. Въ Прокупле находились уже многія тысячи бѣженцевъ. Закупали хлѣбъ, сало, все, что можно было. Одни направлялись на Рашку, другіе—на Новый Базаръ. Тодоръ со своей строительной артелью изъ плѣнныхъ двинулся впередъ, поправляя, гдѣ нужно, дорогу и наводя мосты. Подъ его руководствомъ состояло 280 человѣкъ, подъ конвоемъ всего-

навсего двухъ старыхъ ополченцевъ со старыми винтовками; предполагалось, что Тодоръ долженъ заботиться о пропитаніи своего отряда.

Въ Бруссѣ Тодоръ прямо съ дороги ввалился со своими торбами въ церковь. Было воскресенье. Церковь оказалась биткомъ набита крестьянами, солдатами, офицерами. Тодоръ пробрался къ клиросу и съ увлеченіемъ пѣлъ „Иже херувимы тайно образующе"... Мѣстные прихожане сразу отмѣтили его теноръ. Высокій худой аптекарь, какъ оказалось, тоже родомъ изъ Баната, пригласилъ Тодора къ себѣ въ аптеку, распросилъ про Бѣлую Церковь, про Грушицу и угостилъ коньякомъ. По пути между Рашкой и Митровицей въ потокъ отступающей арміи вливалось все больше бѣженцевъ: мужчины, нагруженные домашнимъ скарбомъ, старики, дѣти, женщины съ котомками и грудными младенцами. Плакали, жаловались другъ другу, и у всѣхъ новоприбывшихъ оказывались одни и тѣ же слова: „недавно стали сербами, а теперь всѣмъ приходится погибать"...

До Рашки шли цѣлую недѣлю. Между Рашкой и Митровицей пришлось строить два моста. По пути эвакуація шла уже полнымъ ходомъ: всѣ покидали очаги, унося, что можно, съ собою. Когда проходили войска, мосты уничтожались динамитомъ. Безконечныя повозки со всякой военной поклажей тянулись по размытымъ дорогамъ. Въ первое время можно было еще достать самое необходимое—хлѣбъ, сало и т. п. Но дальше становилось все голоднѣе, грязнѣе и труднѣе. Послѣднія сербскія газеты Тодоръ видѣлъ въ Прокупле. Въ нихъ писалось о большихъ русскихъ побѣдахъ и еще о томъ, что въ Салоники ежедневно прибываютъ для защиты Сербіи десятки тысячъ солдатъ изъ Англіи и Франціи, что наступленіе болгаръ совершенно прі-

остановлено и что скоро Сербія будетъ очищена, а Болгарія раздавлена.

А между тѣмъ со всѣхъ сторонъ прибывали раненые въ засохшей крови и свѣжей грязи и приносили съ собой вѣсти одна другой чернѣе. Все погибло. Болгары забрали всю Македонію. Помощи нѣтъ ни откуда. Успокоительныя сообщенія газетъ не могли никого утѣшить, а только увеличивали хаосъ.

Все ощутительнѣе становился недостатокъ съѣстныхъ припасовъ. Каждый держался за то, что удавалось добыть. Раненые прибывали все въ болѣе ужасномъ состояніи, просили пищи, но имъ все чаще отказывали. Дождь становился холоднѣе, дороги хуже. Особенно плохо приходилось плѣннымъ. Тѣ, которые входили въ отрядъ Тодора, постоянно просили у него хлѣба. По два-три дня они бродили голодными, шатались, копали коренья, подбирали оставшіяся тыквы и ѣли ихъ сырыми.... Митровица была покрыта, какъ саранчой, сербскими солдатами, бѣженцами и плѣнными. Тодоръ обратился въ министерство за пищей для своего отряда. На другой день ему выдали по два хлѣба на человѣка на восемь дней,—какъ будто кто могъ ручаться, что потомъ будетъ новая выдача. Одни отправлялись отсюда на Призренъ, другіе на Печъ (Ипекъ).

По размытымъ дорогамъ медленно сползала на юго-западъ къ морю вся сербская армія, истерзанная, усталая, безъ надежды, по колѣни въ грязи. А впереди путь преграждали еще высокія горы. Всѣ войсковыя единицы разсыпались на составныя части. Солдаты вперемежку съ бѣженцами, плѣнными, телѣгами, пушками увлекались общимъ потокомъ по руслу изъ грязи. Прокормленіе каждый долженъ былъ искать самъ для себя, и эта забота стала господствовать надъ всѣми другими. Началась торговля всѣмъ, что можно было

сбыть. Продавали другъ другу казенныя вещи, запасную одежду, лишнюю смѣну бѣлья. За бездѣлицу, за кусокъ хлѣба можно было купить винтовку, шашку или сапоги. Чѣмъ дальше, тѣмъ невыносимѣе становилось положеніе плѣнныхъ, которые висѣли у арміи, какъ камень на шеѣ, но которыхъ нельзя было отпускать назадъ...

Отдѣльные ручьи бѣженцевъ изъ разныхъ концовъ Сербіи соединились въ одинъ потокъ, который разлился на широкомъ пространствѣ, покрывая придорожныя полосы и сосѣдніе холмы. Куда ни кинешь взглядъ, вездѣ одно и то же: солдаты, повозки, плѣнные, пушки, дѣти, и все покрыто грязью. Когда Тодоръ наблюдалъ картину съ холма, ему стало казаться, что ползетъ впередъ широкая лента дороги, что самая земля сербская двинулась къ морю.

Въ пушки запряжено по 10—15 лошадей, но двигаются онѣ еле-еле. На каждомъ шагу образуются заторы. Иногда какой-нибудь возъ, нагруженный патронами, увязнетъ и задерживаетъ огромную колонну. Часами возятся вокругъ него усталые обозленные люди, наконецъ, сбрасываютъ его съ дороги внизъ со всей поклажей. Такіе возы остались разсѣяны по всему пути, какъ вѣхи отступающей арміи. Потомъ къ покинутымъ возамъ стали присоединяться покинутые человѣческіе трупы.

Въ селѣ Клинѣ предписано было заранѣе построить мостъ, но объ этомъ не могло быть и рѣчи: не было ни инструментовъ, ни матеріала. Плѣнные были совершенно измучены отъ голода и усталости. Только на третій день выдали по полхлѣба на человѣка. Пріѣхали піонеры съ походными мостами и перекинули ихъ черезъ рѣчку для проѣзда автомобилей. Въ Клину телефонировали, что Мишичъ пріѣдетъ со штабомъ. Одинъ

изъ офицеровъ взялъ у Тодора половину луковицы. Свою кровать Тодоръ уступилъ семьѣ штабнаго полковника, а самъ перешелъ спать въ баракъ съ плѣнными. Но спать почти не пришлось. На Клину надвигался съ сѣверо-востока неумолчный человѣческій топотъ. Слышались тревожные ночью крики коморджіевъ (возницъ), перевозившихъ на волахъ амуницію. Ц-ц...э...эй! Ц-ц-э-эй! Говоръ, скрипъ телѣгъ, брань перекрещивались со стонами и плачемъ голодныхъ, усталыхъ, раненыхъ и измученныхъ людей. Ночь, полная страданій...

Дальше путь лежалъ на Дѣвичій Монастырь. „Спросите въ первомъ албанскомъ селѣ, — сказалъ Тодору капитанъ, — если не захотятъ васъ проводить, силой заставьте“. Нашли стараго албанца, котораго не пришлось принуждать: увидавъ такую массу людей и притомъ еще не сербовъ, а „швабовъ“, старикъ сразу согласился... Въ лѣсу натолкнулись на черногорскую семью, которая незадолго передъ тѣмъ вернулась изъ Чикаго, гдѣ отецъ семьи работалъ на бойнѣ. Четверо дѣтей жались вокругъ наполовину обезумѣвшей матери у костра и плакали. „Къ чему вернулись?“—говорилъ отецъ. Голодающія дѣти были въ первыя недѣли отступленія кошмаромъ для всѣхъ. Съ ними дѣлились, чѣмъ могли. Раненый вынималъ изъ рукава корку со слѣдами засохшей крови и отдавалъ посинѣвшей дѣвочкѣ, которую несъ на рукахъ отецъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше притуплялось чувство состраданія.

Отъ Дѣвичьяго Монастыря, гдѣ получили немного хлѣба, Тодора съ отрядомъ направили въ Печъ. Теперь уже голодъ господствовалъ безраздѣльно надъ отступающими. Плѣнные говорили, что они готовы ѣсть хоть кошекъ, только бы достать. Ночью не спали отъ голода, ходили, стонали. Шли впередъ, качаясь, поддержи-

вая силы невѣдомо чѣмъ. Разбредались по полямъ, ища кукурузы, тыквы, вырывали изъ земли коренья, тутъ же падали и часто больше не вставали. Молили у всѣхъ встрѣчныхъ арнаутовъ хлѣба, давая въ обмѣнъ за него все, что могли отдать. Тодоръ, какъ всегда, устраивался лучше другихъ и даже не прерывалъ своего дневника.

Однажды, когда Тодоръ записывалъ новые стихи, подошелъ къ нему плѣнный чехъ, долго глядѣлъ черезъ плечо застывшимъ взглядомъ и вдругъ сказалъ: „Запиши... меня зовутъ Франя Дворжакъ, я чехъ изъ Сульдковице, изъ Моравіи, и такъ ѣсть хочу, что готовъ съѣсть любую собаку. Такъ и запиши“... Это было около 4 часовъ утра 9 ноября.

Отъ Клины до Печа шли три дня. Подъ Печемъ выпалъ снѣгъ толщиной въ нѣсколько вершковъ. Наступили настоящіе холода. По дорогѣ голодные отставали, уходили въ сторону, искали пищи, забывали о томъ, куда идутъ, гибли безъ счета. Тодоровъ отрядъ разбился: часть осталась позади, многіе разбрелись по сторонамъ и погибли въ полѣ. Однимъ изъ первыхъ погибъ Франя Дворжакъ. На окраинѣ Печа были казармы. Оба ополченца, числившіеся конвойными при плѣнныхъ, зашли туда, а Тодоръ пошелъ въ городъ. И здѣсь все было затоплено отступавшими, военными и штатскими. Всѣ искали кукурузнаго хлѣба. Проя... проя... стонъ стоялъ въ воздухѣ. Продавалось и обмѣнивалось на ѣду все, что только можно было продать или обмѣнить: мѣшки, револьверы, часы, пояса, штыки, рубахи... А цѣна на прою дошла до 10—20 динаровъ за штуку. Подлѣ церкви, облѣпленной народомъ, подошелъ къ Тодору солдатъ, оказалось, шофферъ, и сталъ приставать къ нему, чтобы купилъ автомобиль. Сколько?—Дайте 30 динаровъ.—Такія предложенія по-

сыпались на Тодора, который былъ одѣтъ лучше другихъ, со всѣхъ сторонъ. У Печа кончается проѣзжая дорога, экипажамъ все равно приходится остаться здѣсь и стать добычей врага. Зато здѣсь искали наперебой верховыхъ лошадей и ословъ. Автомобили продавались по 20 и 10 динаровъ, а за ословъ платили окрестнымъ албанцамъ по 300—400 динаровъ за штуку.

Въ Печѣ выдали по проѣ и по кусочку мерзлаго сала. Стояла горная зима: холодъ, вѣтеръ, снѣгъ,— глазъ нельзя было открыть. Тодоръ тщетно искалъ ближайшаго дорожнаго товарища, Бранко Пешича, кафеджія изъ Сараева: тотъ ушелъ впередъ, унося драгоцѣнный мѣшокъ съ провизіей. Тогда Тодоръ вернулся въ казарму къ тѣмъ двумъ конвойнымъ „чичамъ", которые шли съ нимъ, начиная съ Княжеваца. Оказалось, что они повернули обратно, очевидно, въ родныя мѣста, занятыя непріятелемъ. Послѣ этого дня Тодоръ ничего больше не слыхалъ о нихъ... Собравъ снова нѣсколько человѣкъ изъ своего отряда, онъ двинулся дальше. Говорили, что отъ Печа до Скадара (Скутари) два дня пути. На самомъ дѣлѣ шли 12 дней. Многими солдатами, бѣженцами и плѣнными была распродана къ этому времени албанцамъ за проіо верхняя одежда, и они двигались по снѣгу и льду въ однихъ пиджакахъ.

Отъ Печа начинается самая страшная глава этого отступленія.

Тодоръ запасся палкой съ желѣзнымъ наконечникомъ, который самъ смастерилъ себѣ изъ куска желѣза. Безъ этой палки онъ, можетъ быть, погибъ бы, свалившись съ ледяной тропы въ пропасть, какъ сваливались сотни другихъ. Одинъ изъ его товарищей, добродушный и услужливый Михель Рѣзецъ, стащилъ у арнаута топоръ, чтобы по дорогѣ добывать дрова для

костра, и этотъ топоръ былъ спасителемъ. Все круче становились доломиты и все холоднѣе. По горной тропинкѣ могло пройти не больше двухъ человѣкъ въ рядъ. Если кто умиралъ на дорогѣ, его приходилось сдвигать или переступать черезъ него... Вотъ замерзшій солдатъ прикорнулъ спиной къ горѣ, а около него его конь, ждетъ своего хозяина. Вонъ мертвый старикъ съ мертвой старухой у потухшаго костра. Вонъ дѣтская рука изъ-подъ снѣга... Этому нѣтъ числа.

Мѣстами приходилось ползти по тропѣ, держась другъ за друга. Было множество случаевъ, когда люди съ дикимъ крикомъ падали внизъ. Остальные плотнѣе прижимались къ горѣ и потомъ ползли дальше. Эти горы издавна называются „Проклятыми", но никогда еще столько проклятій не обрушивалось на нихъ и на весь міръ, какъ во время этого отступленія.

Горе тому, у кого не было топора! Иззябшіе насквозь люди ворочались передъ костромъ, чтобы согрѣть то ту, то другую сторону тѣла, или нагрѣвали камни и ложились на нихъ. Болѣе трехъ часовъ такого отдыха трудно было выдержать. Но еще труднѣе было идти. Все круче становился путь. Люди и кони падали. Приходилось цѣпляться руками и ногами за уступы камней. Многіе снимали обувь, чтобы легче двигаться по обледенѣлой тропѣ. Часто изъ глубокихъ пропастей раздавались изступленные вопли, но никто не останавливался: все равно не было никакой возможности помочь несчастнымъ, да никто уже и не думалъ о другихъ, пожираемый заботой о себѣ.

Арнаутскихъ жилищъ не видно, они скрыты въ горахъ. Зато сами арнауты, какъ коршуны, на пути подстерегали бѣженцевъ и вымѣнивали все, что оставалось. Если арнауты видѣли издыхающую лошадь, они приканчивали ее и снимали шкуру. И сейчасъ же на

трупъ лошади собирались бѣженцы, чтобы воспользоваться мясомъ. Срѣзая его кусками, они поджаривали конину на кострахъ и этимъ питались. Съ лошадиными трупами все чаще перемежаются человѣческіе. Вотъ молодой солдатъ погибъ отъ холоду, а рядомъ съ нимъ другой, постарше, не выдержалъ и покончилъ съ собой. Одной рукой держитъ ружье противъ груди, которая вся покрыта замерзшей кровью.

...Подъ ногами пропасть, а съ другой стороны ея круто поднимаются къ небу горы, покрытыя еловымъ лѣсомъ и снѣгомъ. Неописуемая красота — эти гиганты, Чакоръ и Кучиште, царящіе надъ проклятыми албанскими горами. Здѣсь встрѣтили арнаутовъ, которые предлагали Тодору кусокъ хлѣба за сохранившіеся у него инструменты. На его отказъ албанцы предупредили съ угрозой: „Дальше и этого не достанете... не знаете, куда идете“.

Самая страшная ночь была на Чакорѣ. Тодоръ со своими спутниками нарубили дровъ, сколько могли, и поддерживали большой костеръ. Подъ ними слышался шумъ рѣки, надъ ними вызвышался жестокій Чакоръ. Холодъ осаждалъ костеръ кольцомъ, стонали кругомъ гибнущіе люди, и волчій вой слышался всю ночь. Отъ холода, отчаянія и страха никто не спалъ. Ежились вокругъ костра и озирались на непроходимый лѣсъ, откуда неслись волчьи голоса. Сердце такъ билось въ груди отъ холода, что казалось, наступаютъ послѣднія минуты.

Такъ добрались до вершины горы, откуда открывался видъ на обѣ стороны. Дулъ злой вѣтеръ, пронизывавшій насквозь. Здѣсь Тодоръ остановился, укрылся немного за выступомъ и записалъ нѣсколько стихотворныхъ строкъ въ свой дневникъ: „На вершинѣ Чакора“. Онъ уже думалъ о томъ, какъ напечатаетъ свой днев-

никъ на всѣхъ языкахъ и получитъ много денегъ и славы. Дальше тропинка шла внизъ большими зигзагами. Часто ложились на спину и спускались такъ одинъ за другимъ отъ поворота до поворота.

Прибыли въ село Кривашъ, на бывшей турецко-черногорской границѣ. Долго ходили отъ дома къ дому, просясь укрыться отъ холода. Но вездѣ получали отказъ: все полно. Наконецъ, какой-то школьникъ провелъ ихъ къ своей матери. Послѣ ужасныхъ ночей попали въ живой домъ, и тутъ, снявъ сапоги и расправивъ ноги, почувствовали, что значить кровъ и очагъ. Казалось, что всѣ опасности и бѣдствія остались позади.

Въ селѣ Присоѣ Тодоръ оставался три дня. Онъ лѣчилъ здѣсь пораненную въ дорогѣ ногу. Ночевалъ у Степана Голоскоковича. Это былъ бородатый и степенный чича, который обстоятельно разспрашивалъ, что будетъ, если сюда придутъ нѣмцы, и каждый разъ начиналъ разговоръ съ начала.

Отъ Андреевицы до Подгорицы была уже дорога, хотя и горная. Въ Подгорицѣ все было затоплено бѣженцами. На другой день черногорскій король произносилъ здѣсь рѣчь передъ солдатами, но что именно онъ говорилъ имъ, до Тодора не дошло.

Вмѣстѣ со своимъ вѣрнымъ Михелемъ Рѣзцомъ Тодоръ наткнулся на площади на черногорца, продававшаго сосиски. Пристали къ нему и стали торговать вмѣстѣ. Пару сосисокъ продавали по динару. На другой день отдѣлились отъ черногорца и соединились съ туркомъ Ахметомъ. На этой продажѣ Тодоръ заработалъ въ нѣсколько дней 180 динаровъ, да 40 динаровъ получилъ Михель. Прои почти вовсе не было и продавалась она по баснословнымъ цѣнамъ. Происходила дальнѣйшая распродажа того, что еще оставалось у солдатъ и бѣженцевъ. На площади стоялъ непрерыв-

ный торгъ. Солдаты сбывали ружья, револьверы, сабли и кормились сосисками безъ хлѣба. Власти запретили эту торговлю, которая никого не кормила, но походила на разбой. Но сдѣлки тѣмъ не менѣе продолжались.

Послѣ Подгорицы снѣга уже не было, шли дожди. У поселка Хуму, состоящаго изъ двухъ-трехъ избъ, сѣли въ челноки, чтобъ пересѣчь Скадарское озеро. Дальше пришлось идти черезъ Скадарскія болота. Попрежнему вездѣ подстерегали арнауты, вымѣнивая или покупая все, что оставалось у солдатъ. Такъ они постепенно раздѣвали отступавшихъ.

Въ одномъ мѣстѣ добродушный и крѣпкій Михель, по природѣ своей вьючный человѣкъ, началъ переносить черезъ рѣку офицеровъ и богатыхъ людей. Заработалъ въ два часа за такую переноску 23 динара. Подъ конецъ перенесъ по дружбѣ и Тодора, которому вообще вѣрой и правдой служилъ всю дорогу. Шли по болоту два дня среди неописуемыхъ страданій. Уже видна была крѣпость Скадаръ и гора Тарабошъ, но казалось— не добраться до города никогда. Въ грязи оставили множество лошадиныхъ и человѣческихъ труповъ. Выбившіеся изъ силъ люди, среди нихъ женщины и дѣти, протягивали изъ грязи руки и просили всѣ одного и того же: молимъ леба. Но другіе несчастные проходили, не глядя, мимо. Это было хуже, чѣмъ въ снѣгахъ Чакора.

Въ 8 часовъ утра 10-го декабря (ст. стиля) увидѣли надъ Скадаромъ три австрійскихъ аэроплана, по которымъ стрѣляли изъ фортовъ крѣпости. Когда вошли въ городъ, нашли много разрушеній, причиненныхъ аэропланами, и десятки свѣже-раненыхъ штатскихъ и солдатъ. Пріюта не было, и Тодоръ съ Михелемъ рѣшили спать подъ турецкими воротами на улицѣ. Въ городѣ, какъ это часто бываетъ, оказалось хуже, чѣмъ

въ лѣсу. Къ полуночи стало невыносимо холодно, а дровъ нельзя было достать. Чтобы не замерзнуть, пришлось цѣлую ночь ходить по улицамъ. Къ утру забрели въ какой-то дворъ, заплатили по динару и спали на полу въ повалку съ другими.

Оставались въ Скадарѣ до Новаго года. Тодоръ и тутъ приторговывалъ сосисками, продалъ офицеру за 40 динаровъ гетры, которыя купилъ въ Подгорицѣ за 11 динаровъ, купилъ у вернувшагося изъ Америки черногорца чикагскихъ консервовъ и отправился въ путь на Санъ-Джованни.

Въ двухъ переходахъ отъ Скадара попался на дорогѣ полный возъ хлѣба, который солдатъ продавалъ по 10 динаровъ за штуку: должно быть, добылъ этотъ кладъ въ С.-Джованни съ парохода для голодающихъ бѣженцевъ. Голодная смерть и жадная безсовѣстность, какъ всегда, только болѣе обнаженно, дополняли другъ друга во все время пути.

По дорогѣ, въ какомъ-то селѣ, Тодоръ натолкнулся на домъ, окруженный стражниками: тутъ находился король Петръ. Все село было уже занято, и пріюта нигдѣ не было. Пошли дальше съ Михелемъ, притулились у забора и такъ провели ночь. Въ Скадарѣ солдатамъ вмѣсто хлѣба выдавали муку. Тодоръ скупилъ у нихъ нѣсколько порцій, и Михель сдѣлалъ шесть хлѣбовъ. Этого хватило до моря.

3-го января пришли, наконецъ, въ С.-Джованни, совершивъ и послѣднюю часть пути въ голодѣ и холодѣ, среди умирающихъ женщинъ и дѣтей. Въ Санъ-Джованни, гдѣ всего нѣсколько домовъ, собралось уже великое множество народу: солдатъ, плѣнныхъ, штатскихъ, и каждый день сюда вливались новыя человѣческія волны. Изъ камыша сдѣлали прикрытія и подъ ними скрывались отъ непогоды. Дни, впрочемъ, стояли хо-

рошіе, море спокойное. Было почти совсѣмъ тепло. Всѣ были полны страшныхъ впечатлѣній пройденной дороги и не съ кѣмъ было дѣлиться ими, потому что всѣ пережили одно и то же.

Десятки тысячъ людей, изнывавшихъ отъ голода и неизвѣстности, ждали итальянскихъ пароходовъ, мечтая переѣхать на нихъ черезъ Адріатику. Жандармы увѣряли всѣхъ, что никакихъ судовъ не будетъ, и посылали въ Дураццо, только бы съ глазъ долой. На берегу стоялъ вой и плачъ: снова идти нѣсколько дней до Дураццо—безъ хлѣба, съ умирающими дѣтьми. Многіе дѣйствительно отправились. Но большинство осталось. Хлѣбъ у Тодора тѣмъ временемъ вышелъ. Онъ затосковалъ: что-то будетъ?..

6-го января, холоднымъ раннимъ утромъ, собрались въ кучу Тодоръ со своимъ вѣрнымъ Михелемъ, Іованъ Ходжикостичъ, тайный полицейскій агентъ, и Обрадъ Пилякъ, кожевенный торговецъ изъ Ужицы. Совѣтовались, что дѣлать, куда направиться? Уже склонялись къ тому, чтобы уходить на Дураццо, какъ вдругъ съ возвышеннаго мѣста раздались крики: пароходъ, пароходъ! Вдали показались одинъ за другимъ три корабля. Но какъ только суда приблизились, вся набережная была очищена и оцѣплена солдатами и жандармами, которые пропускали на мостки только привилегированныхъ.

Тодоръ цѣлый день, пока стояли суда, бѣгалъ и хлопоталъ, чтобы попасть на пароходъ. Наконецъ, придумалъ планъ: позвалъ Михеля, взвалили съ нимъ мѣшки себѣ на плечи, подошли къ жандармскому офицеру:— „Позвольте намъ пройти съ вещами полковника такого-то“. Офицеръ кричитъ: „Проходи, проходи“. Такъ и пробрались.

Но попали только на мостки. Оттуда на пароходъ

перевозили на пяти челнокахъ и въ первую очередь опять-таки доставляли „интеллигенцію“. Тодоръ, оторвавшись отъ Михеля, думалъ было пройти въ числѣ студентовъ, но тѣ крѣпко держали другъ друга за руки и никого къ себѣ не пропускали. Къ вечеру на пристани стояло полное отчаяніе. Одни плакали, другіе проклинали, третьи снова собирались идти на Дураццо... На пароходахъ больше не было мѣстъ.

Тодоръ предложилъ подъѣхавшему лодочнику 10 динаровъ съ человѣка. Тотъ согласился: скорѣй! Десять человѣкъ, какъ попало, свалились въ лодку и поѣхали къ пароходамъ. Но по дорогѣ встрѣтился морской офицеръ и приказалъ повернуть обратно. Полковникъ, бывшій въ числѣ запоздавшихъ пассажировъ, шепотомъ предложилъ лодочнику 50 динаровъ, если тотъ устроитъ на пароходѣ его и двухъ его дочерей. Это подѣйствовало. Послѣ сложныхъ маневровъ лодочникъ причалилъ къ пароходу. Перекрестившись, Тодоръ вступилъ на бортъ. Вѣрный Михель Рѣзецъ остался въ Санъ-Джованни...

Парижъ, май 1916 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

[illegible]
1919

